

Представляя новую рубрику, стоит напомнить афоризм В.О. Ключевского, который называл книги «главными биографическими фактами» в жизни учёного. Можно лишь к этому добавить, что появление новых исследований, введение в научный оборот неизвестных прежде источников, написание обобщающих трудов не только расставляет *вехи* в профессиональных судьбах отдельных историков, но и служит важнейшим *симптомом* жизнедеятельности научного сообщества в целом. К сожалению, до сих пор эти, казалось бы, вполне очевидные соображения не всегда учитывались в нашей редакционной работе. Слишком доминировал сложившийся в академической среде взгляд на журнал как на сборник научных статей, только выходящий с известной периодичностью; как на своего рода промежуточную станцию на *пути* автора к книге (на худой конец, к диссертации). Книжные новинки, если и фиксировались журналом, что происходило далеко не всегда, то (за отдельными исключениями) лишь в конце номера подчёркнуто мелким шрифтом. Если вдуматься, в этом можно увидеть какой-то странный перекосяк: статьи, обычно представляющие собой лишь более или менее удачные фрагменты будущих монографий, оттесняли *сами книги* на задний план!

Журнал, претендующий на роль зеркала того, что происходит в науке, должен шире откликаться на *главные* факты творческой жизни профессионального сообщества. Отныне мы будем открывать каждый номер «Российской истории» не статьёй, а диалогом по поводу значимого для науки события – выхода *новой книги* (исследования, публикации источника, работы общего характера). Обновлённая и, на наш взгляд, достаточно гибкая структура номера позволяет сразу обсуждать даже несколько книг, как в специально созданной для этого рубрике, которая может повторяться в одном выпуске два-три раза, так и, в случае необходимости, в ряде других разделов.

Сергей Секиринский

«Научное сообщество историков России: 20 лет перемен»

Мы открываем рубрику обсуждением темы, которая по определению не может оставить равнодушным ни одного из постоянных и даже случайных читателей нашего журнала. Сборник дискуссионных статей, изданный Ассоциацией исследователей российского общества АИРО-XXI, посвящён сообществу российских историков¹ в эпоху ещё не завершённого «перехода от “советского” к “российскому” или “русскому”» (с. 7). По причинам, которые ещё ждут своего исследователя, отечественные историки до сих пор не слишком охотно обсуждали собственные внутрикорпоративные проблемы. Едва ли не единственным «допустимым» в этом контексте жанром были и остаются «методологически»-биографические труды, в которых история науки почти всегда сводится к истории идей и к творчеству их авторов – более или менее известных учёных прошлого. Социальный статус историков, особенности их корпоративного самосознания и закономерности его формирования, не говоря уже о более острых вопросах денег, власти и контроля внутри сообщества и со стороны «внешних» по отношению к нему сил, прежде всего государства, – все эти сюжеты больше обсуждаются на обыденном уровне, в кулуарах конференций и коридорах институтов, чем на страницах научных изданий. Как и авторы обсуждаемой книги, мы считаем, что настало время говорить о них открыто.

¹ Научное сообщество историков России: 20 лет перемен / Под ред. Геннадия Бордюгова. М.: АИРО-XXI, 2011. 520 с.

В дискуссии приняли участие: член-корреспондент РАН П.Ю. Уваров (Институт всеобщей истории РАН; Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики), доктора исторических наук В.И. Дурновцев (Российский государственный гуманитарный университет), И.И. Курилла (Волгоградский государственный университет), А.Б. Соколов (Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского), кандидат исторических наук В.В. Тихонов (Институт российской истории РАН).

Павел Уваров: Историки делятся на работающих с источниками и не работающих с ними

Ни в одной стране мира нет столь большой доли профессиональных историографов, т.е. историков, специализирующихся на изучении того, что написали другие. Но в большинстве случаев исследуется то, что когда-то писал некий выдающийся историк или что пишут наши западные коллеги. Анализа же нашей современной историографической ситуации остро не хватает². В западных странах интроспекция, т.е. отслеживание состояния своей современной историографии, играет важную роль. У нас же об этом вспоминают чаще всего либо по какому-нибудь скандальному поводу, либо при написании заказных рецензий.

Но одно дело – произносить инвективы и здравицы, а другое – попытаться дать целостный анализ ситуации. Здесь мы не избалованы большими работами³. Уже поэтому авторский коллектив книги, вышедшей под редакцией Г.А. Бордюгова, заслуживает всяческого уважения. Уважение предписывает сосредоточиться именно на достоинствах и недостатках данной книги, а не на общих рассуждениях о судьбах профессионального сообщества историков в нашей стране, сколь бы мне ни хотелось подискутировать на эту тему.

Я думаю, что не удивлю авторов, если скажу, что коллективной монографией у них не получилось. Перед нами сборник статей, отчасти связанных общностью проблематики, отчасти – общностью ценностных суждений, но при этом разнящихся по жанру. Ничего обидного в этом нет, сборник статей – форма вполне respectable, а главное, менее уязвима для критики. Коллективной монографии можно ставить в упрек то, что определённые вопросы не затронуты, сборнику же такие претензии предъявлять бессмысленно. В лучшем случае их можно назвать рекомендациями на будущее.

Но раз перед нами сборник, то и я позволю себе на одних материалах остановиться больше, на других – меньше, а некоторые вообще по разным причинам опустить. К последним относятся прежде всего библиографические материалы И.Л. Беленького по историографическим исследованиям отечественного сообщества историков. Достаточно вспомнить не раз слышанную мною фразу: «Если кто-то и делает, то – Иосиф Львович, а если Иосиф Львович не делает, то никто не делает». Собственно, не будь в обсуждаемой книге больше ничего, кроме этих библиографических материалов, занимающих свыше дюжины печатных листов, всё равно от неё была бы огромная польза.

Текст В.Д. Есакова я также не стану анализировать – формально он относится к более раннему периоду, посвящён другой стране и другому сообществу, хотя, конечно, играет важную роль, задавая точку отсчёта начавшихся в 1980-х гг. необратимых изменений в организации жизни историков в России. Главное, что его исследование имеет ещё и ценность свидетельства очевидца и даже участника событий, связанных с дея-

²За редким исключением, см., например: Хут Л.П. Теоретико-методологические проблемы изучения истории Нового времени в отечественной историографии рубежа XX–XXI вв. М., 2010.

³См., например, тематический выпуск «Историческая наука в современной России» электронного научно-образовательного журнала «История». Вып. 1 /<http://mes.igh.ru/magazine/content.php?magazine-382>

тельностью «мятежного парткома» Института истории АН СССР в середине 1960-х гг. Не знаю, все ли авторы этот раздел читали, но рассказываемая Есаковым история разделения Института убеждает в необходимости изучения не только дискурсивных практик и идеологических стереотипов, но также и институциональной и микроисторической подоплёки событий. Власти надо было избавиться от слишком принципиального парткома, и в результате предпочли специализацию комплексному подходу.

Не стал я разбирать и статью Н.И. Дедкова. При всём интересе к феномену «новой хронологии» данное явление лишь косвенно соотносится с профессиональным сообществом. Реакция историков на Фоменко любопытна, и в тексте о ней говорится, но, по-моему, не эта проблема волнует автора в первую очередь.

И, наконец, я исключил из рассмотрения текст В.П. Молодякова. Маркирующие позицию автора хлёсткие фразы, слабо подкреплённые работой с материалом (достаточно взглянуть на примечания), демонстрируют, что статья относится скорее к журналистике, чем к историографии. Можно с автором соглашаться или спорить, но сказать, что он что-то не учёл в своём анализе, нельзя, потому что анализа в статье нет. Как о слишком журналистском я не хотел писать и о тексте Б.В. Соколова, но, по некоторым соображениям, от этого намерения отказался.

Теперь можно двинуться по текстам в порядке их следования.

Знакомясь с работой И.Д. Чечель, я вспомнил, как во второй половине 1980-х гг. завидовал грядущим историкам, которые станут изучать эту бурную эпоху. Неудивительно поэтому, что в её текст я пытался вникнуть с большим тщанием, чем в другие разделы. Это потребовало немалого труда ещё и из-за стиля, создающего впечатление, что автор пытается сказать почти обо всём сразу и вдобавок продемонстрировать владение бесчисленными риторическими фигурами и интонациями одновременно. Часто авторская фраза, уснащённая цитатами, выстроена так, что трудно определить, к чему относится данное высказывание: к «означающему» или «означаемому». Метафоры, лёгкие намёки, термины, до конца понятные лишь посвящённым, громоздятся друг на друга, требуя от читателя усилий, сопоставимых с затратами на декодирование текстов Мишеля де Серто. Порой дискурс, как хвост собакой, виляет авторской мыслью, выстраивая причудливые конфигурации. Так, В.Б. Кобрин почему-то причислен к типичным «академистам», а Ю.Н. Афанасьев и Л.М. Баткин оказываются в одном лагере «критиков-политиков», непримиримых борцов, отмахивающихся от советской историографической традиции, тогда как в другом стане «критиков-методологов» соседями становятся А.Я. Гуревич и Б.Г. Могильницкий, «предлагавшие ограничиться комплексно-оперативной реформой историографии в её методологическом срезе». Для меня сие удивительно, коль скоро я хорошо знаком с этими людьми. Мне, например, невозможно абстрагироваться от того, что Б.Г. Могильницкий – хранитель традиций своего учителя А.И. Данилова («министра-медиевиста»), бывшего для А.Я. Гуревича, пожалуй, самой одиозной фигурой в советской науке, в то время как с Л.М. Баткиным Арон Яковлевич при всех разногласиях был стратегическим единомышленником и другом.

Но ведь я – очевидец, а очевидец и должен относиться к историку примерно так, как память относится к истории. Поэтому я вполне допускаю, что неожиданные повороты историографических сопоставлений могут оказаться ценны именно своей непредсказуемостью, позволяя увидеть нечто новое. Гораздо более серьёзный вопрос относится к дисциплинарной идентичности данного текста. Если это – культурология, то я боязливо умолкаю и воздерживаюсь от комментариев, если это – нарратология, то признаю её уместность, лишь удивляясь, что поэтике перестроенного историописания уделено не так много места, как хотелось бы. Но если это историческое исследование, тогда стоит определиться со «священными коровами» историков: источниками, хронологическими рамками, методами исследования. Возможно, автор относится к поколению историков, пустивших этих коров на мясо, но для фигурантов его исследования они оставались священны. Историки оценивали друг друга не только по декларациям о намерениях и по политическим пристрастиям, но и по степени профессионализма, измеряемого по тому, как исследователь работает с источниками. К тому же в перестроенную эпоху

шёл массовый вброс новых источников, менявших ландшафт «территории историка» никак не меньше, чем статьи в журнале «Коммунист».

Суждения автора подкрепляются анализом принципиально разных текстов – интервью, статей в газетах, в научно-популярных, публицистических или же во вполне научных журналах и сборниках, предисловиях и послесловиях к монографиям⁴. Можно ли игнорировать «принуждение формы», предписывающей историку то быть застёгнутым на все пуговицы, то щеголять отсутствием галстука или других деталей одежды? Можно, если речь идет о применении контент-анализа. Но об этом принято предупреждать читателя, равно как и о хронологических рамках исследования. Начав знакомиться с текстом, посвященным эпохе перестройки, он затем узнаёт, что речь шла о периоде, доходящем до нашего времени. Всё бы ничего, но это подчас делает уязвимыми выводы автора. Важное место уделено в статье тому, как Ю.А. Поляков напал на «историков-конъюнктурщиков». Соглашаясь с выводом автора о том, что уважаемый академик относился к «конъюнктурщикам» плохо и что работы Ю.Н. Афанасьева он скорее клеймил, чем подвергал всестороннему анализу, я всё-таки должен обратить внимание на то, что книга Полякова датирована 1995 г., временем, когда перестройка давно уже канула в Лету. Это сегодня для нас пять лет срок небольшой, а тогда, как и в любой революционный период, история во много раз ускоряла свой бег. Сопоставляемые тексты, таким образом, относятся к разным геологическим эпохам. Может быть, в книге Полякова собраны статьи, написанные ранее, как раз по свежим следам выступлений Афанасьева? Но читателю об этом не известно.

Насколько я понял, под расплывчатым понятием «эволюция образа научности» понимается на самом деле то, как вело себя сообщество историков в условиях перестройки, как «критики» и «академисты» реагировали на вызовы, как менялись их позиции. Мне в этом тексте интереснее другое. История оказалась в значительной степени предоставленной сама себе, то ли освобождённой, то ли брошенной властями. Если бы автор интересовался институциональной историей, то, думаю, обыграл бы тот факт, что с 1988 г. в структуре РАН наша дисциплина выделилась из секции общественных наук и существовала как самостоятельное отделение, пока не была объединена с филологами в 2001 г. В этих условиях для историков важным оказался искус публичностью, который привел не только к трансформации «образа научности», но и к перераспределению социальных ролей (точнее, к попытке этого перераспределения). Очень ценно, но, к сожалению, не развито автором наблюдение о принципиальном смешении жанров перестроечной историографии, интересен небольшой экскурс в поэтику исторических текстов тех лет. Претендуя сама на многое, история очень болезненно реагировала на вторжение «чужаков». Как бы друг к другу ни относились твердокаменные академисты и пламенные критики-реформаторы, здесь они были весьма похожи в своих реакциях. Иногда это была вполне здоровая защита от самозванцев, но порой она вела к досадным потерям. Среди потерь – не только сорванные попытки реального, а не декларативного междисциплинарного диалога, но и упущенный шанс осознания важности и самостоятельности феномена «непрофессиональной истории». Тогда, к концу 1980-х гг., мы были в шаге от того, чтобы не хуже, чем П. Нора и его команда, приступить к изучению то ли «мест памяти», то ли «массового исторического сознания», то ли «народной истории». Но, по-видимому, неуверенность в собственном статусе мешала историкам признать автономность данного явления. Несовпадение «научной» и «народной» версий истории преподносилось как плоды невежества, как результат злокозненной политики властей, как следствие недостаточной активности учёных в пропаганде научных знаний, но отнюдь не в качестве достойного объекта рефлексии. В этом опять-таки и «академисты», и «критики» были удивительно похожи.

Я бы вообще сконцентрировал внимание не столько на расхождении позиций историков, и без того слишком очевидных, сколько на поисках общих черт между оппонен-

⁴ Я бы как очевидец добавил сюда и граффити в общественных местах в качестве исторически переходного жанра от полемических статей к форумам блогосферы.

тами. Возможно, именно так и удалось бы лучше ответить на вопрос о существовании национального сообщества историков или об его отсутствии, и о том, чему больше способствовала эпоха турбулентности – его консолидации или дисперсии. Главное, что И.Д. Чечель обладает для этого достаточным инструментариумом.

Композиционно следующее за текстом Чечель исследование Г.А. Бордюгова и С.П. Щербины «Транзит: социологический портрет сообщества» создаёт эффект контрастного душа. Суховатый сциентизм – многочисленные таблицы, диаграммы, формула расчёта коэффициентов – сразу демонстрируют серьёзность намерений авторов, берущихся за решение великой по своей важности задачи – исчислить сообщество учёных в количественных данных и выразить существующие тенденции. Затем, обобщая средние показатели таблиц, они, перейдя к биографическому методу, производят на свет гомункулюса – усреднённого российского историка Виктора Ивановича, 65-летнего преподавателя одного из московских вузов. Для многих читателей такое завершение высоконаучной статьи стало приятной неожиданностью.

Я же, признаюсь, готовился к чему-то подобному, познакомившись с таким призом в блестящей книге Г.М. Дерлугьяна⁵, которую я настоятельно рекомендую всем, а в особенности авторам этой и других статей сборника. «Характерным примером оказалась псевдогерой, в то время как реальные герои ещё не покинули своего творческого “подполья” и предоставили Виктору Ивановичу представлять их корпоративные черты», – пишут авторы, явно не испытывая особых симпатий к этому уходящему типу историка. Но мне в их приговоре, равно как и во всём портрете, не достает знания того, каким он был историком? Как-то молчаливо предполагается, что плохим. То, что он в 1970-х гг. вступил в партию, занимался историей Отечественной войны, а в 1990-е гг. написал учебное пособие по истории России, руководствуясь цивилизационным подходом, это ещё не приговор. Пусть мне скажут сначала, насколько добросовестно Виктор Иванович работал с источниками, было ли в его книгах что-то новое, каким он был преподавателем, остались ли у него ученики, и чего они стоят. Вот тогда и посмеёмся. Интересно, какие критерии позволяют отличить плохого историка от хорошего, а историка от не-историка? Это вопрос не только к данной статье, конечно. Но возвратимся к тому, как авторы пишут о своём гомункулюсе: «Многие будут искренне поражены тем, что этот статистический пример историка оказался портретом типического служащего Клио». Поражаться будут те, кто забыл, что написано на первой странице данного текста про принцип Парето, согласно которому 20% участников дают 80% результата. Но тогда в чём эвристическая ценность уважаемого Виктора Ивановича? Он типичен для какой части сообщества?

И вот здесь начинается непонятное. Корпус, состоящий из 1 722 историков, тщательно обрабатывается по разным параметрам, устанавливаются корреляции, которым авторы стараются найти объяснение. Но почему численность профессиональных историков в России определяется в 40 тыс. человек? Может быть, это общепринятые данные, и только я об этом не знаю? Если анализируемый корпус историков является выборкой, то что выступает по отношению к ней генеральной совокупностью? Входят ли в неё археологи, востоковеды, музейные работники, наконец, учителя школ? А как быть с теми, кто, получив историческое образование, именуют себя культурологами? Эти вполне легитимные вопросы не обсуждаются в принципе. И, наконец, как формировался анализируемый корпус? Неужели действительно на основе данных А.А. Чернобаева и А.А. Аникеева? Я не против ни первого, ни второго, но строить по их данным выборку – это всё равно, что судить об отечественных публикациях по данным сегодняшнего РИНЦ. Авторы избавляют читателя от знакомства со своей творческой лабораторией, а в итоге натыкаешься на странные утверждения: то Северо-Западный Федеральный округ лидирует в России по числу публикаций, посвящённых Западной

⁵ Дерлугьян Г.М. Адепт Бурдьё на Кавказе. Эскизы к биографии в миросистемной перспективе. М., 2010. Англ. вариант: *Derlugian G. Bourdieu's Secret Admirer in the Caucasus: A World-Systems Biography*. Chicago, 2005.

Европе (это полный бред), то докторов у нас, оказывается, намного больше, чем кандидатов, причём это объясняется тем, что в историческую науку почти прекратился приток молодых историков... Столкнувшись с подобными «перлами», авторы пускаются в сложные интерпретации вместо того, чтобы заняться ремонтом выборки.

Неужели нельзя было создать команду, поручить ей набрать данных по сайтам, выстроить стоящую выборку, а затем уже всё это обрабатывать, избегая обидных ошибок, способных дезавуировать все остальные, даже вполне убедительные выводы? Но, в любом случае, руководителям АИРО-XXI стоит сказать большое спасибо за их жертвенный труд. Ведь отсутствие доступных данных о национальном сообществе историков – самое красноречивое свидетельство состояния этого сообщества⁶, какие бы ассоциации под каким бы августейшим покровительством ни создавались.

Д.И. Люкшин в своей статье под сообществами «национальных историков» понимает совсем другое. Видно, что автор пишет о наболевшем, не понаслышке зная о процессах формирования регионально-этнических версий национальной истории. Основная его идея заключена в фиаско конструирования региональных версий для обретения новой национальной истории. Провал, по мнению автора, произошёл в результате саботажа профессиональных историков, вследствие быстрой смены политических реалий, а также из-за доморощенности местных ревнителей этноисторической идентичности, не овладевших современными, актуальными для сегодняшней историографии исследовательскими подходами. Несмотря на обобщённое название, речь идёт главным образом о Татарстане и отчасти о соседней Башкирии. Остальные республики присутствуют лишь в качестве эпизодических примеров.

У меня есть к автору ряд претензий. Во-первых, удивляет манера принципиально не замечать работ, посвящённых той же проблеме. Можно не читать американца Г.М. Дерлугьяна, который по-русски был напечатан сравнительно недавно, или А.И. Миллера, который не пишет о современных российских республиках. Но уж книги В.А. Шнирельмана странно не знать, не говоря о многочисленных публикациях на эту тему в журнале «Родина». Во-вторых, обрисованная автором диспозиция содержит ряд существенных фигур умолчания даже применительно к Казани. Конечно, когда автор писал статью, он мог ещё и не знать, с чем сольют Казанский университет и что за этим последует. Но он странным образом умалчивает об исторической оргии тысячелетия Казани. Или, может быть, стоит объяснить читателям, кто и почему стоит в этом городе на Санкт-Петербургской улице на пьедестале, предназначенном для памятника Петру I?

И, наконец, на чем основана непоколебимая вера автора в то, что тематика национально-государственного креационизма давно отошла в прошлое? Он считает, что «объяснительный потенциал историографических концептов, уходящих корнями в дискурс этнонациональной истории, был исчерпан ещё в третьей четверти прошлого века», поэтому сегодня «построить исторический нарратив в понимании, предложенном Анкерсмитом, не получится». Но я уверен, что, работай Фрэнк Анкерсмит, например, в Ташкенте, у него означавшее быстро сошло бы с означаемым в версии суверенной национальной истории. Да для этого можно отправить groningenского профессора даже и не в Узбекистан, а в гораздо более близкую ему Балтию. Не слышать мерной поступи «исторической политики» как в странах СНГ, так и в гораздо более дальнем от нас зарубежье – значит судить о жизни только по книгам классиков постмодернизма.

Н.Д. Потапова в своей статье ставит перед собой амбициозную задачу – проследить, как реализуются основные формы научной коммуникации в современных исторических журналах. Работа эта, безусловно, важная для изучения судеб сообщества историков, поскольку периодика, по словам подзабытого классика, это «не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор». Надо отдать должное Потаповой: в отличие от множества отечественных историографов-эпистемологов, она вникает не только в декларации авторов и членов

⁶ Для того чтобы представить себе, сколько профессиональных историков занимается во Франции тем, что мы называем Новой историей, у меня ушло 22 минуты.

редколлегии, но и в содержание хотя бы части публикаций. Зная Потапову как специалиста по «лингвистическому повороту», я не был удивлен ни вниманием к формам авторского нарратива, ни избранным ею тоном в отношении рассматриваемых сочинений, который одни назовут ироничным, другие – глумливым. Морального права осуждать за это автора у меня нет, ведь я и сам в подобных ситуациях выбираю именно такой отстранённо-ироничный тон (наживая себе врагов на совершенно пустом месте). Но, взяв интонацию, надо выдерживать её до конца. Если же получается так, что над А.Н. Медушевским или покойным М.А. Рахматуллиным (чужими) подсмеиваться можно, а над И.Д. Прохоровой (своей) – нельзя, то ирония из формы мировосприятия превращается в инструмент ценностного суждения и тогда, выходит, правы те, кто на нас обижается.

Модели организации массового исторического знания рассматриваются на примере старых академических журналов («Вопросы истории» и «Отечественная история»), междисциплинарного «Нового литературного обозрения» и глянцевого журнала «Родина». Внешне этот выбор выглядит вполне оправданным. Но дальше вновь возникает чувство недоумения. Во-первых, нормальному анализу подверглась лишь «Отечественная (Российская) история», а те полторы странички, которые отведены «Родине», аналитическими никак не назовёшь. Но это даже не главное на фоне того, что автор, как выяснилось, совсем не интересуется институциональной составляющей. То, что С.С. Секиринский никогда не работал в «Новой и новейшей истории», это не так страшно. В конце концов, может, ещё пойдёт и поработает, если послушается Н.Д. Потапову. А вот то, что владельцем журнала «Вопросы истории» является вовсе не РАН, а авторский коллектив во главе с А.А. Искендеровым, это уже весьма серьёзное обстоятельство⁷, если и не полностью опровергающее выводы автора, то делающее необходимой их корректировку. Непонятно также, почему для противопоставления «Отечественной истории» берется именно «НЛЮ» – журнал, издаваемый филологами и для филологов, который если с чем и надо сравнивать, так это с «Вопросами литературы». Да, стараясь закрепить право на широкую трактовку филологии, журнал иногда публикует исторические тексты. Но вообще-то для этого у холдинга «НЛЮ» есть «Неприкосновенный запас», благополучно издаваемый с 1998 г. Надо было как-то объяснить свой выбор. Жаль, кстати, что в качестве альтернативы «Отечественной истории» не рассматривался «Ab Imperio». Помимо содержательной части это издание интересно как раз своим менеджментом и фандрайзингом. А сравнивать в этом отношении с чем-нибудь «НЛЮ» просто некорректно. Ну, право же, журнал «Историк и Художник» прекратил своё существование в условиях кризиса вовсе не потому, что недостаточно подражал издательской политике И.Д. Прохоровой и не потому, что О.В. Будницкий оказался слишком академичен. Уж если и выставлять какие-то баллы за менеджмент и борьбу за аудиторию, то тогда надо быть честным до конца и описывать все условия функционирования исторического журнала, а не бросаться лапидарными фразами⁸. В противном случае лучше ограничиться анализом дискурсивных практик. Так оно спокойнее будет.

О статье А.В. Свешникова и Б.Е. Степанова говорить, пожалуй, не имею права, поскольку они в кои-то веки упомянули мой родной журнал «Средние века», причем во вполне положительном контексте. Не замечали, не замечали (во всех предыдущих опубликованных изводах их статьи) и вдруг – заметили. Как же теперь я могу их ругать? А если их только хвалить, то это будет несправедливо по отношению к авторам

⁷ Отделение истории и филологии РАН никак не влияет на кадровую и издательскую политику журнала, но, с другой стороны, оно его и не финансирует.

⁸ Пример чеканных формул немного из другой области: «Среди авторов московских академических журналов доминируют мужчины», «академическая среда не женское место», «там не звучит голос молодых». В нашем журнале «Средние века» представительницы прекрасного пола составляют более половины авторов, молоды они все, а значительная часть очень молоды. Стоит ли мне теперь снимать гриф РАН с титульного листа? К тому же среди тех, кого Потапова цитирует в своих обширных примечаниях, женщины явно не выглядят гонимым меньшинством. И, наконец, проводились ли такие подсчёты для журналов «НЛЮ» и «Родина»?

других статей. Скажу лишь, что междисциплинарность декларируется всеми, попытки реализовать её предпринимаются многими, но является она при этом скорее недостижимым идеалом, чем реальностью. Почему, демонстративно раскрывая объятия для представителей братских дисциплин, историки в итоге заключают в них в основном себя, любимых? Нет ли здесь какой-то институциональной причины? Или дело в деонтологии исторической профессии?

Очень понравилось исследование И.В. Нарского и Ю.Ю. Хмелевской, посвящённое судьбам историков-грантоносцев в современной России. Удалось ли что-то сделать соросам, фордам, макартурам и прочим «прогрессорам», действующим в нашей стране наподобие дона Руматы в Арканаре или же янки из Коннектикута при дворе короля Артура? Подарили ли они отечественным историкам ту самую удочку, которая делала бы их независимыми от постоянных поставок бюджетной рыбы? Или же удочки у них непременно отобрали бы отцы-командиры? Эксперимент до конца довести не удалось, фонды свернули свою деятельность. И всё же вмешательство системы западных грантов было важным фактором в судьбе нашего сообщества, заслуживающим особого исследования. Гранты помогли выжить некоторым областям исторического знания, поддержали книгоиздание и переводы и, главное, создали особую социальную среду, те самые сети горизонтальных связей, которые продолжают функционировать и до сих пор. Была ли система этих, условно говоря, «соросовских» грантов справедливой? Нет, конечно. И потому, что вокруг неё все время пытались концентрироваться группы тех, кто «ровнее других», и потому, что гранты часто доставались тем, кто быстрее овладел технологией написания заявок, кто лучше умел жонглировать клишированными фразами на International English. Это было несправедливо, но это была иная несправедливость, чем та, что бытовала в отечественной университетско-академической среде. Поэтому на какое-то время удалось ослабить путы патернализма в науке и преподавании, запустить в российские университеты людей, мыслящих несколько иначе. Сейчас, по моим наблюдениям, система неспешно переваривает их одного за другим, но, возможно, я излишне пессимистичен.

О прогрессирующей бюрократизации отечественных научных фондов говорить нет смысла, сказано уже многое, а если добавить к этому ещё рассказы бывалых ходяков за министерскими грантами, то повествование обретет черты нескончаемого эпоса. Отмечу лишь то, на что обычно не обращают внимания. Хотя грант получить трудно и с каждым годом становится всё труднее, мало кого в фондах интересует содержательная (а не финансово-бюрократическая) сторона отчётов. Один раз я в роли эксперта оценивал отчёт, где руководитель не стал юлить, а честно написал, что часть работы он сделать не смог. Когда я спросил начальство о том, могу ли я не писать, что грант успешно завершён, коль скоро сам автор утверждает обратное, то на меня замахали руками: ведь если отчёт не принять, то в дело вмешается Счётная палата. А кому это надо?

Таковы нравы российских историков, ставшие объектом критики Б.В. Соколова. Нравы, прямо скажем, оставляют желать лучшего. Самое интересное, что под инвективами автора подписался бы любой из членов академического истеблишмента (при условии, конечно, если в тексте не упоминался бы ни он сам, ни возглавляемая им структура), равно как они сочли бы «Хартию историков» вполне приемлемой. Но я знаю, что бы они ответили автору. Они указали бы на то, что он сам не очень-то соблюдает свои же императивы. И они, к сожалению, были бы правы. Позаимствовав тон князя М.М. Щербатова, автор выносит вердикт: «Практически все ВАКовские издания... превращаются в кормушку для руководства и источник коррупции. Официально или не официально, но все диссертационные статьи публикуются там за деньги». Прочитав это, я загрустил. Сколько диссертационных статей мы в наших ВАКовских «Средних веках» опубликовали за пять лет, а где деньги? Неужели кто-то из моих сотрудников их ворует? А я им так доверял...

Шутки шутками, но текст Соколова – демонстрация того, что бывает, когда автор всё уже решил заранее и потому не нуждается в размышлениях на устаревшую тему

«wie es eigentlich gewesen...»). Повествуя о последних драматических выборах директора ИРИ РАН, автор сетует: «Интриги по борьбе за власть в ведущих исторических институтах проводятся весьма изощрённо, и стороны охотно апеллируют к принципам демократии, но только тогда, когда это им выгодно». Оставив в стороне вопрос о том, не считает ли автор лучшим вариантом менее изощрённую избирательную борьбу, свободную от апелляций к демократическим принципам, подчеркну, что эта формулировка предполагает полную невозможность свободы волеизъявления в Академии. Описывая выборы директора Института российской истории, автор не желает видеть в них ничего, кроме переплетения интриг. Интриги, безусловно, были, коль скоро любые альтернативные выборы – это конфликт чьих-то интересов. Но выборы в Отделении были абсолютно свободными, причём их результат никак не просчитывался заранее – такая вот в Академии сохранилась архаика. Может быть, автор, как и большинство тех, кто писал об этом голосовании, не представляет себе процедуры? Голосуют все члены Отделения, приехавшие со всей страны: и историки, и филологи. Большинство из присутствующих вообще узнали о выборных перипетиях в ИРИ РАН впервые (кстати, в тот день избирались директора нескольких институтов). Люди прочитали представленные документы: программы и, в особенности, автобиографии (филологи вообще любят работать с текстами – работа у них такая), выслушали выступления кандидатов, не без интереса следили за оживлёнными дебатами, а потом вынесли своё решение. Тайное голосование принесло некоторое преимущество одному из кандидатов. Что здесь однозначного, где именно автор видит падение нравов? Кто, по его мнению, ими (в том числе и мной) манипулировал? Кто может вообще манипулировать В.В. Ивановым или А.А. Зализняком?

Другой сюжет. Вот уж не думал, что вновь придётся возвращаться к пресловутому «циркуляру Тишкова», уже столько о нём писали, что просто смешно повторяться. Но всё-таки, раз уж я и здесь был очевидцем, могу поделиться наблюдениями. На очередном общем собрании Отделения, помимо ежегодного отчета и других проблем, встал вопрос и о только что созданной комиссии по фальсификации. Желающих выступить по этому поводу нашлось немало, и они говорили абсолютно те же вещи, что и историки, мнение которых Б.В.Соколов противопоставляет «академическому»: недопустимы любые попытки фальсифицировать историю, в каких бы целях это ни делалось. Вот, например, сочинения Фоменко, Мулдашева, В. Чудинова, Велесова книга... Зал оживлялся всё больше, каждый вспоминал старые обиды, хотелось крикнуть о наболевшем: «А про Аркаим, про Аркаим забыли!». Окинув лес поднятых рук и озабоченно взглянув на часы, председательствующий В.А. Тишков попытался успокоить собравшихся. Сказав, что у нас не остается времени выслушать всех желающих, он предложил подать свои замечания в письменном виде. Бюро соберёт их воедино и учтёт в итоговом документе. А чтобы члены Отделения об этом не позабыли и чтобы высказаться смогло как можно большее число сотрудников академических институтов, он попросил работников секретариата разослать письмо с напоминанием о сроках подачи этих предложений. Усталые, но довольные академики, член-корры и представители от институтов разошлись по домам, а наутро увидели, что Интернет взорвался сенсационными разоблачениями сервизма академических историков, готовящих новую охоту на ведьм. Дальше пошел флэш-моб на международном уровне. И что бы ни говорил В.А. Тишков, его никто уже не слушал, каждое лыко ставя ему в строку.

Я останавливаюсь на этих примерах не для защиты Академии, а по гораздо более грустному поводу. В основном всё, что говорит Б.В. Соколов, вполне справедливо. Вот только доверие к этим правильным словам уже подорвано. Ведь если автору всё известно заранее, и его не интересуют мотивации действующих лиц и обстоятельства событий, то историк ли он?

Подводя итоги, с удивлением обнаружил, что если отбросить первый и последние тексты наших ветеранов – В.Д. Есакова и И.Л. Беленького, то при всём жанровом, тематическом и стилистическом разнообразии материалов сборника между ними есть нечто общее. Я бы назвал это недостаточным вниманием к предмету своего исследова-

ния. Ему, как правило, не даются определения, не очерчиваются границы, не уделяется внимание институциональным аспектам его существования. Да, собственно говоря, нет ни определения сообщества историков, ни хотя бы рабочей гипотезы по поводу того, кого сюда надо причислять. Я подумал о причинах этого странного явления. Может быть, дело вот в чём. В книге говорится о разных историках, там есть западники и почвенники, критики и академисты, сталинисты и антисталинисты, националисты и великодержавники, читавшие Анкерсмита и его не читавшие, заботящиеся о междисциплинарном диалоге и не очень заботящиеся, нравственные и безнравственные, стоящие у кормила власти или не допущенные ни к кормилу, ни к грантам. Оппозиций много, но нет одной: работающие с источниками и не работающие с ними. Похоже, что позитивистское утверждение Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса «история пишется по документам» отправлено на свалку истории. Я не призываю поголовно вернуться в архивы, у историографов ведь тоже есть источники, как показывает библиография И.Л. Беленького. Просто надо бы тщательнее с ними работать, даже если речь идёт о самосозерцании.

Не хотелось, чтобы в моих замечаниях авторы книги усмотрели неуважение. Я их очень уважаю, а к тем, с кем лично знаком, испытываю неподдельную симпатию. Если надо их хвалить, то я могу делать это гораздо более пространно. Они молодцы, что взялись за обсуждение этой темы, которое, безусловно, надо продолжить. Надеюсь, в том числе – и на страницах «Российской истории».

Да, чуть не забыл спросить, почему ничего (кроме библиографии) не сказано о деятельности столь почтенной организации, как Ассоциация исследователей российского общества «АИРО-XXI»? Сапожник опять остался без сапог?

Иван Курилла: О «внутренних» и «внешних» коммуникациях в сообществе историков

Новый сборник, подготовленный Ассоциацией исследователей российского общества – нужное и своевременное издание. Уже самим своим названием книга провозглашает бытие сообщества, существование которого ещё не доказано. В самом деле, историки России объединены во множество ассоциаций; помимо самой АИРО-XXI существуют разные по численности и степени активности сообщества, объединённые вокруг региона (историки-американисты, франковеды, англоведы и пр.), события (историки Первой мировой или наполеоновских войн), метода (ассоциация «История и компьютер», Общество интеллектуальной истории). Практически каждое из них проводит конференции, публикует альманахи и сборники, однако все они ориентированы на специфический предмет или метод, на содержательную сторону исследования. Историкам остро не хватает структуры, объединяющей их всех, облегчающей взаимоотношения профессионалов с «внешним» по отношению к ним обществом. Задача самоорганизации – одна из самых насущных, а книгу, которую мы обсуждаем, можно считать шагом на пути такой самоорганизации. Сначала хотелось бы поговорить о том, что в сборнике присутствует, и насколько убедительно эти мысли сформулированы, а потом перейти к тому, чего в нём, по моему мнению, не хватает.

Во введении редактор книги Геннадий Бордюгов констатирует, что корпоративная идентичность историков «находится в зачаточном состоянии», и упоминает о планах создания Общества историков России, прозвучавших на встрече историков с тогдашним президентом России Д.А. Медведевым летом 2011 г. (с. 7). Это сопоставление неготовой среды и попыток организации «сверху» заслуживало бы отдельного внимания, но автор на нём не остановился. Отметим, кстати, что в первых сообщениях о создании Российского исторического общества в июне 2012 г. содержался список учредителей новой организации; лишь немногие из этих уважаемых людей являются историками, что оставляет открытым вопрос о появлении в стране подлинно профессионального объединения, которое, на наш взгляд, должно опираться не только на решения, приня-

тые на политическом уровне, но и на встречное стремление преподавателей и научных сотрудников к выработке и поддержанию профессиональных стандартов.

Сборник открывает статья Владимира Есакова, посвящённая истории исторической науки в Советском Союзе. Она представляет собой настолько удачное краткое изложение событий и конфликтов этого периода, что просится в списки обязательного чтения для студентов-историков по курсу историографии. Статья Ирины Чечель, хронологически продолжающая повествование о судьбе историков в эпоху «перестройки», – весьма информативная и интересная, однако оставляет ощущение некоторой рыхлости. Во второй половине своего обширного текста автор скатывается к назывным предложениям, нагромождению риторических вопросов и довольно умозрительным конструкциям.

Любопытная статистика исторического сообщества приведена в статье Геннадия Бордюгова и Сергея Щербины. Однако чтение этого текста вызывает недоумение. Исходными данными для статистических обобщений стали биобиблиографический словарь А.А. Чернобаева и сайты региональных университетов, но их заведомая неполнота даже не оговаривается. Авторы не только не делают поправок на ограниченность этой базы, но и стремятся дать каждой количественной корреляции качественное объяснение. Казалось бы, обнаруженный ими «факт», будто в историческом сообществе докторов наук больше, чем кандидатов, противоречит простой логике и эмпирическому опыту. Однако авторы отказываются усомниться в полноте доступных им данных и упорно ищут объяснений тому, что 81.7% историков являются докторами наук (с. 138). Они предлагают интересные гипотезы, которые имели бы право на существование, если бы не проще было подвергнуть сомнению полноту базы данных, на основании которой строилось исследование. Почему бы не предположить, что биобиблиографический словарь Чернобаева содержит гораздо более полные данные именно о докторах исторических наук, а не о кандидатах? Бордюгов и Щербина и далее предлагают для подмеченных ими корреляций объяснительные гипотезы, не всегда звучащие убедительно. Так, говоря о меньшей доле докторских защит по истории Северо-Запада страны во времена застоя, они объясняют это бóльшим идеологическим консерватизмом ленинградской партийной организации (с. 153). Возможно, это и так, но никаких доказательств такого утверждения авторы не приводят. Между тем эта и подобные гипотезы часто изложены как единственно возможные. Вызывает возражение и группировка некоторых данных, в частности, выделение в качестве «темы исследований» «археологии» наряду, скажем, с «историей интеллигенции» и «историей промышленности». Очевидно, что археология – вовсе не тема, а отдельная отрасль исторической науки. Перепутав то и другое, авторы пришли к «новаторскому» заключению, что почти 100% археологов защитили докторскую диссертацию «на такую же тему, что и кандидатскую» (с. 157), т.е. защитились по археологии.

Статья Дмитрия Люкшина о сообществах «национальных историков» до такой степени завораживает стилем («катахреза советского патриотизма» (с. 178), «гардианы татарской этнической государственности» (с. 187), «статусные позиции аннибалов этноэтнической истории» (с. 187)), что основная мысль автора теряется. А она интересна, но достаточно спорна: Люкшин считает, что «борьба за суверенитет на поле историографии обернулась... дезорганизацией и депрофессионализацией провинциальной корпорации “национальных историков”» (с. 188). Может быть. Однако во многих регионах России, несмотря на «перекося» борьбы за идентичность, ориентация на изучение локальной истории привела к качественному улучшению работ по краеведению, превращению его из раздела провинциальной журналистики в часть исторической науки. Более того, важной тенденцией последних десятилетий нам представляется регионализация историописания как такового, появление «немосковских нарративов» российской истории. Любопытно было бы взглянуть под этим углом и на историю Татарстана, и на «подверстанную» к ней автором историю «других регионов Российской Федерации, отмеченных клеймом этнической государственности».

В следующей статье сборника Наталья Потапова анализирует модели организации сообщества в четырёх российских исторических журналах, – «Вопросы истории», «Отечественная (Российская) история», «НЛО» и «Родина». Правда, внимание автора распределилось между этими журналами очень неравномерно: «Вопросы истории» упомянуты лишь в начале, «Отечественной истории» посвящены примерно пятнадцать страниц статьи, «НЛО» – около пяти, а «Родина» обошлась двумя. Весьма любопытна сама попытка различения периодических изданий по их «бизнес-модели»; жаль только, набор исследованных журналов невелик. А было бы интересно посмотреть, какая из этих моделей доминирует на отечественном рынке научных журналов, какая редка, а какая – уникальна.

В упрёк «Российской истории» автор ставит отказ от усвоения западных исторических концепций «напрямую», через публикацию переводов статей «законодателей мод»; вместо этого читатели получают «секонд-хэнд» (с. 205). На мой взгляд, однако, избранный журналом подход вполне оправдан. В самом деле, в задачу журнала не входит заполнение «белых пятен» в отечественной методологии и тем более – публикация переводов уже вышедших за рубежом текстов, он ориентирован на публикацию новейших, оригинальных работ по российской истории. Вспомним, как некоторые исторические журналы в начале 1990-х гг. взялись за публикацию мемуаров, до той поры не печатавшихся в России, отдав им свои страницы на протяжении нескольких лет, – и проиграли, поскольку за это время те же мемуары были изданы отдельными томами. Занявшись просветительством – делом, безусловно, важным, но отличным от науки, журнал может потерять собственную нишу и собственное место в научной жизни. Продолжение темы мы находим в статье Антона Свешникова и Бориса Степанова о междисциплинарности в работе историка. В качестве источников используются междисциплинарные журналы (тот же «НЛО», который Потапова рассматривала как исторический журнал) и альманахи («THESIS», «Одиссей»). Авторы гораздо шире рассматривают поле исторической периодики в России, уделив внимание и таким новаторским проектам, как журнал «Ab Imperio».

В этих статьях, однако, не хватает важной составляющей, позволившей бы полностью охватить эту актуальную тему, – в них не рассматриваются периодические издания центральных и региональных университетов. Любопытен был бы и анализ институциональных рамок, внутри которых развиваются исторические журналы: это не только «список ВАК», но и отсутствующая система библиотечной подписки на научные журналы (так, если бы библиотеки университетов выписывали все «Вестники» других университетов, – это помогло бы решению проблемы платных публикаций, причиной которых зачастую является не «коммерческая жилка» издателей, а элементарная бедность университетов, не способных ни содержать периодическое издание, ни наладить его продажу). Ещё полнее картина была бы при условии учёта исторических ежегодников и альманахов, выпускаемых в российских регионах. Можно было бы сделать и следующий шаг и поговорить о проблемах исторического книгоиздания, как в Москве и Петербурге, так и вдали от столиц. Конечно, отсутствие такой статьи не может быть поставлено в упрёк авторам и составителям.

Статья Василия Молодякова о «новой и старой ортодоксии» «просится» в первый раздел сборника, посвящённый истории развития исторического сообщества, однако оказалась, видимо, слишком дискуссионной. Название статьи («Историк и власть») не вполне соответствует её тексту, который представляет собой лишь оригинальный взгляд на эволюцию «ортодоксии» в историческом нарративе. При этом анализируемые автором тексты относятся скорее к исторической публицистике, чем к академическим трудам, и потому статья фактически анализирует восприятие проблем исторического сообщества со стороны. Вместе с тем остаётся неясным, насколько глубоко был затронут этими проблемами сам исторический цех? В самом деле, анализируемые автором споры относятся исключительно к истории России XX в. и в меньшей мере – к акцентам, расставляемым в исторических нарративах, адресованных обществу. Однако большая часть историков не занимается составлением исторических нарративов и не

пишет школьные учебники. Для медиевистов или специалистов по истории Древнего мира картина перемен в профессии выглядела существенно иной. Постепенное вытеснение марксизма-ленинизма с позиции единственной методологии исторической науки оказало гораздо более глубокое влияние на историческую профессию. Кроме того, мне не кажется верным уравнивание «ортодоксии» 1990-х гг. с «новой ортодоксией» 2000-х, хотя бы потому, что в 1990-е в эту сферу не вмешивалось государство.

Интересно, что проблематика работы историка в региональном вузе раскрывается в сборнике лишь в статье Игоря Нарского и Юлии Хмелевской о грантовой поддержке исторических исследований (кроме того, в специфическом контексте национальной республики, – в упомянутой выше статье Люкшина). Они же обозначили ещё один важный раскол в историческом сообществе – разделение историков на «грантополучателей» и «традиционных историков». Две группы настолько отличаются по ценностным установкам, карьерным устремлениям, отношениям к формальным институтам, что возникает вопрос, можно ли объединять их в единое сообщество. Правда, пессимистичный вывод авторов состоит в том, что «грантополучатели» не находят места в новой научной среде, сложившейся в последние годы, а потому обречены на постепенное исчезновение.

Статья Бориса Соколова об этике исторического сообщества осознанно провокационна. Один из центральных сюжетов: избрание директора Института российской истории РАН в 2010 г. Не будучи вовлечённым в перипетии этой драмы, я не могу оценивать соответствие версии Соколова фактам. Однако обобщения автора гораздо шире этого конкретного случая. Автор, например, считает возможным упрекать историков в написании заказных диссертаций. Вероятно, такой вид заработка существует, – однако автор не раскрыл вопрос, как же на самом деле относится к таким случаям историческое сообщество, насколько распространено это явление. Мне, например, представляется, что историки гораздо менее терпимы к «заказным» работам, чем ряд других профессиональных сообществ, но это мнение ограничено моим собственным кругом общения. Готов ли осознать такое же ограничение своего видения Б. Соколов? С другой стороны, статья ставит очень неудобный для профессионального сообщества вопрос: является ли защита диссертации по истории пропуском в это сообщество? Пусть не так часто, как в некоторых других общественных науках, но и через исторические диссертационные советы периодически проходят люди, чья принадлежность к «цеху» не очевидна. Предложенная автором Хартия историков была бы, вероятно, шагом к консолидации сообщества. Правда, сформулированное Соколовым в п. 4 противопоставление «научной истины» «соображениям политической, этнокультурной, религиозной или идеологической конъюнктуры» (с. 339) противоречит разделяемому ныне многими историками пониманию процесса исторического познания как диалога различных «идентичностей», включая политические, этнокультурные, религиозные.

Последние 130 страниц сборника занимает библиография публикаций по истории научно-исторического сообщества России за последние 70 лет, составленная Иосифом Беленьким. Перед такой работой, которая сама по себе может стать важным источником для дальнейшей самоорганизации научного сообщества историков, хочется «снять шляпу».

Добавлю несколько слов о том, чего мне не хватило в обсуждаемой книге. Прежде всего очень важной задачей остаётся анализ процесса смены научных парадигм с началом кризиса марксистской методологии. В сборнике не достаёт статьи о взлёте и падении «цивилизационного подхода», о распространении конструктивизма, микроистории, о новом «явлении» марксизма – через «западный марксизм» Перри Андерсона или Иммануила Валлерстайна, о влиянии на историческую науку социологии и литературоведения... Некоторые элементы такого подхода содержатся в статьях об исторических журналах, немного говорится об этом и в других материалах сборника.

Тем не менее задумка авторов в этом направлении выглядит стройнее, если мы посмотрим на рецензируемый сборник как на часть более широкого проекта. Практически одновременно авторский коллектив под редакцией того же Геннадия Бордюгова

опубликовал ещё один сборник⁹, который дополняет книгу о научном сообществе историков. В нём анализу подвергается как раз содержательная сторона исторических исследований (в основном по истории России XX в.), хотя отдельный раздел посвящён «условиям и среде» деятельности историков, и целый ряд составивших эту книгу статей уместно смотрелся бы и в исследовании научного сообщества.

Но есть и другие темы. Одной из них представляется мне отношение историков-профессионалов и бюрократической «вертикали». Поскольку подавляющее большинство историков работают в университетах и академических институтах, они сталкиваются со всё большим валом бумажной (а теперь и электронной) отчётности, мешающей науке и преподаванию. Бюрократический контроль расцветает тогда, когда ослаблен контроль содержательный. Внешний, чужой по отношению к профессии чиновник не способен оценить качество профессиональной работы и подменяет эту оценку формальным отчётом. Представляется, что усиление профессионального сообщества могло бы помочь справиться с этой проблемой. Такое сообщество могло бы взять на себя целый ряд функций, прежде всего касающихся научной экспертизы, которые присвоены сейчас государством. Так, недавние скандалы вокруг учебных пособий по истории показали слабость исторического сообщества как на этапе рецензирования этих работ, так и на этапе их критики, которая игнорировала мнение профессионалов, предлагая вместо этого ангажированные политические оценки или судебное преследование авторов.

Помимо внутрицеховых вопросов, к которым надо отнести ещё и стандарты исторического образования на разных уровнях, важнейшей задачей сообщества историков является и коммуникация с «внешним» по отношению к нему обществом. Более организованное, чем у нас есть сегодня, историческое сообщество должно было бы не только объяснять обществу и государству «границы допустимого» в «регулировании» исторической науки (мы были на грани от пересечения этих границ в ходе создания «комиссии по борьбе с фальсификацией»), но и помогать историкам услышать общественные запросы. Этот тезис может вызвать возражение: каждый историк самостоятельно определяет научную проблему, ему для этого не нужна организация. Однако здесь есть место и для институционального анализа. Ассоциация могла бы отслеживать количественные показатели научной работы историков. Запрос общества, с другой стороны, выражен по-разному: это и рыночный спрос на научно-популярные книги и телепрограммы, и интенсивность споров непрофессионалов (например, на многочисленных интернет-форумах любителей истории). Мнение профессионалов было бы нелишним в корректировке представлений о прошлом, бытующих среди любителей.

Вернусь к тому, с чего начал: сам разговор о книге, посвящённой научному сообществу историков, способствует формированию этого сообщества. Уже в этом заслуга авторов и составителей. Сегодня принято считать, что книга хороша не тогда, когда закрывает какую-либо тему, а когда вызывает споры и открывает проблему для обсуждения. Думаю, что перед нами именно такой случай.

Виталий Тихонов: Легко ли быть молодым историком?

Сборник статей «Научное сообщество историков России: 20 лет перемен», безусловно, затрагивает самые насущные проблемы жизни современных профессиональных историков. Однако многие выводы авторов сложно назвать однозначными. Споры в этой книге не вызовет только опубликованная в конце библиография, подготовленная И.Л. Беленьким, впрочем, далеко не полная. Возражать можно долго: здесь и некорректные оценки, и передергивание, а часто и домысливание фактов, и далеко идущие выводы, основанные на шаткой и неполной источниковой базе. Есть, впрочем, много совершенно верных суждений и замечаний. Вместе с тем некоторые актуальные сю-

⁹ Исторические исследования в России – III: Пятнадцать лет спустя. М., 2011.

жеты почти совсем не затронуты. Одним из них является проблема молодых историков и их места в сложившейся научно-педагогической системе. Тот факт, что поколение 1990-х гг. (т.е. тех, кто именно в это время занял прочные позиции в профессии) крайне немногочисленно, должен только подогревать интерес к неопитам-историкам. Эту тему я и хотел бы затронуть. Сразу оговорюсь, что буду говорить исключительно о своём личном опыте и субъективных наблюдениях.

Формально «молодым» признаётся учёный до 35 лет, хотя внутри сообщества таковыми считаются исследователи до 40–45 лет. В 1990-е гг. историческое сообщество пополнялось крайне скудно, и основная их масса пришла в профессию в 2000-е гг. В «Научном сообществе...» о молодых историках написано скупое, в основном в статье Г. Бордюгова и С. Щербины о социальном облике историков-профессионалов в целом. В ней выделяются различные генерационные страты. К «молодёжи» авторы относят родившихся в 1965–1984 гг. и после 1985 г. Какой же получается портрет молодого или относительно молодого историка? Как правило, это выпускник московского вуза. Он предпочитает учиться в аспирантуре не в академическом институте, а в своём вузе. Более того, в среднем к 32 годам он уже доктор. В тексте можно обнаружить утверждение, что молодые оседают в основном в коммерческих структурах и музеях. Также авторы всячески подчёркивают (и, надо сказать, справедливо), что молодёжь после аспирантуры не стремится идти в науку. Попробуем разобраться, насколько всё описанное выше соответствует реальности.

Начнем с аспирантуры. Действительно, молодой исследователь предпочитает писать диссертацию в вузе. В книге это связывают с более высокими зарплатами по сравнению с академическими институтами. «Кроме того, в вузах... требования к диссертациям более либеральные, чем в НИИ, что также вызывает дополнительный поток аспирантов» (с. 134). Существуют и другие объяснения этой тенденции. Аспирантура в институтах Российской академии наук до сих пор пользуется заметно большим престижем, чем аспирантура даже ведущих вузов. Например, после защиты диссертации в Институте российской истории РАН найти место в вузе не составляет особого труда: статус и авторитет института являются весомым аргументом при приёме на работу. Поэтому проблема будущего трудоустройства для молодого человека, к тому же смутно представляющего себе финансовые расклады в мире профессиональной истории, вряд ли является определяющей при выборе места подготовки диссертации. Решающим становится желание остаться в родном университете, сдавать экзамены уже известным преподавателям, работать с уже известным научным руководителем. Но, наверное, самым важным аргументом является тот факт, что в аспирантуре академических институтов количество мест невелико, зато в вузах наличие платной аспирантуры гарантирует практически стопроцентное поступление. Не секрет, что одни идут в аспирантуру для того, чтобы избежать службы в армии, другие – чтобы продлить студенческие годы, наконец, есть и те (как правило, это уже состоявшиеся, не очень молодые люди), кто поступает для скорейшей защиты диссертации и получения степени, которая поможет в административной или политической карьере. Лишь небольшая часть поступающих идёт в аспирантуру с осознанным желанием заняться наукой.

После поступления основную трудность для аспиранта представляет не столько написание диссертации (конечно, для тех, кто её пишет), сколько совмещение исследовательской деятельности с зарабатыванием денег. Аспирантская стипендия невелика, статус же взрослого человека обязывает самостоятельно себя обеспечивать. Многие попадают в эту ловушку: не работать нельзя, но совмещать науку и работу получается далеко не у всех. Часто именно по этой причине сходят с дистанции.

Наконец, защита состоялась. Если нашлось место, молодого историка пригласили работать в университет или, что менее вероятно, академический институт. Вакансии есть далеко не всегда. Некоторые выпускники провинциальных вузов специально поступают в аспирантуру в Москву или Санкт-Петербург, поскольку знают, что места в альма-матер для них точно не найдется, а в столицах есть какой-то шанс. Но если вы нашли работу, то начинается новая жизнь и новые трудности. Когда я учился, мне

казалось, что сообщество историков – это мир людей, которые делают общее дело. Они спорят, дискутируют, но остаются в рамках этики. Реальность оказалась несколько сложнее. Неофит, может, и не сразу, но обязательно сталкивается с борьбой различных групп за влияние в профессиональном сообществе, за контроль над финансовыми потоками, наконец, за утверждение своих концепций. Всё бы ничего, но проблема в том, что старшие коллеги зачастую требуют, чтобы молодой учёный обязательно определился – с кем он. А тот не всегда понимает: почему нельзя с кем-то сотрудничать, обмениваться идеями, просто общаться и т.д. Даже суть конфликта ему далеко не всегда ясна. Приходилось неоднократно слышать рассказы о том, что молодого историка «топили» уже за то, что он имел несчастье быть когда-то чьим-то аспирантом или работать в том или ином учреждении. Справедливости ради отмечу, что при определённой сноровке можно держаться в стороне от всего этого.

Главное преимущество молодого историка – это лучшая ориентация в реалиях современной жизни, особенно умение пользоваться компьютером, интернетом и т.д. Свободная ориентация в интернет-пространстве добавляет возможностей для поиска литературы, информации о научных мероприятиях, даёт заметную фору в борьбе за гранты. В настоящее время, когда процесс публикации книги стал довольно прост, а отслеживать новую литературу крайне сложно, именно интернет и специализированные сайты являются часто единственной возможностью узнать, что где-то вышла интересующая вас монография, сборник статей и т.д. Положительную роль сыграло требование ВАК размещать авторефераты диссертаций в интернете, а журналам – иметь он-лайн версию. Интернет остаётся часто единственным средством коммуникации с коллегами из других городов и стран. Новые формы подачи информации, такие как социальные сети и Живой журнал, также способствуют поддержанию контактов. Уже сейчас заметна тенденция «ухода» науки в виртуальное пространство. Наконец, именно новое поколение быстро осознало, что интернет – это ещё и новый тип источника, который можно и надо изучать. Медленно, но зарождается интернет-источниковедение и интернет-археография, делаются доклады, например, об образе Сталина в сети, о блогах как новых народных газетах и т.д.

Здесь, впрочем, есть и свои издержки. Интернет продолжает рассматриваться как внеакадемическое пространство, где можно не только свободно выражать свои мысли, но и не стесняться в форме их изложения. Уже сформировалось несколько групп, которые враждуют не только на страницах журналов и на конференциях, но и в сети. Причём молодые адепты чувствуют себя гораздо раскованнее и редко сдерживают эмоции, так что агрессии здесь на порядок больше, чем в реальности. Один мой знакомый, кстати, весьма квалифицированный специалист, автор сотни научных публикаций, в своём живом журнале обещал оппоненту приехать к нему на защиту диссертации и совершить физическую расправу. Не знаю, была ли угроза воплощена в жизнь. Ещё один специфический феномен сетевой научной субкультуры – это так называемые «фрики», что с английского можно мягко перевести как «чудаки». В эту категорию попадают остепенённые и неостепенённые историки, которые разворачивают в интернете бурную деятельность по доказательству каких-либо сомнительных теорий. Но, по моим наблюдениям, настоящих чудачков, продвигающих очевидно абсурдные идеи, не так уж много. В основном «фриками» друг друга именуют идейные оппоненты, стремясь тем самым априори лишить отвергаемые ими концепции ореола научности.

Но не борьбой единой живёт молодой историк. Приходится думать и о материальных благах. Отмечу, что моё поколение прекрасно понимало: история – это не та сфера, где можно зарабатывать деньги. Когда меня встречают бывшие однокурсники, закрепившиеся в госкорпорациях, политике или бизнесе, то первый вопрос: не обидно ли мне, что я так мало зарабатываю? Я отвечаю в том духе, что с голоду не пухну, даже наоборот – поправляюсь. Но зарплата действительно остаётся невысокой как в подавляющем большинстве вузов, так и в академических институтах, хотя уже и не столь катастрофически низкой, как это было ещё недавно. Денег вполне хватает на скромное существование, пока ты одинок и тратишь только на себя. Но что делать, когда появ-

ляются семья и дети? Одной зарплаты явно не хватает. Система многочисленных стимулирующих надбавок, появление которых, по замыслу разработчиков, должно было поощрять самых активных и способных, регулярно даёт сбой, и порой возникает вопрос, а существует ли она вообще, не миф ли это? Зачастую молодому кандидату наук не находится на кафедре полноценной ставки, даже если это его основное место работы. Поэтому приходится подрабатывать, хватаясь практически за любые предложения. Если утрировать, то всех молодых историков можно разделить на две части: тех, кто крутится на двух-трёх и более работах, и тех, кто только возмущается сложившимся положением дел. У первых на жалобы часто нет ни сил, ни времени. Многие подрабатывают в московских школах: там сейчас платят неплохие деньги. От вечной беготни по работам, конечно же, страдает в первую очередь исследовательская деятельность, но и педагогическая не выигрывает: приходится браться за самые экзотические предметы, на которые кафедральные мэтры смотрят с опаской, предпочитая вести годами апробированные курсы. Естественно, всё в этих условиях делается на бегу.

Выходом из ситуации могут быть гранты. Этой теме в «Научном сообществе...» посвящен специальный очерк И. Нарского и Ю. Хмелевской. Когда оказываешься на крупных конференциях или летних школах, где много ровесников, в неформальной обстановке разговоры в первую очередь о грантах. Обсуждается, кто и куда подавал заявку, как её лучше оформить, с кем в команде проще добиться финансирования и т.д. Грант воспринимается как естественный атрибут профессии. Есть несколько виртуозов, которые умудряются выигрывать все известные конкурсы. В течение года в среднем для различных фондов составляется около 5 заявок. Считается, что если хотя бы одна выиграет, то год удался. Российские фонды, несмотря на регулярные призы к молодым специалистам активнее участвовать в конкурсах, как-то неохотно дают деньги не очень известным авторам заявок. Иностранные фонды, наоборот, стараются ориентироваться на молодёжь, но их мало, и они предпочитают финансировать стажировки, а не исследования. В последнее время всё активнее осваиваются государственные конкурсы Министерства образования или гранты Президента РФ, где молодой возраст – это большой плюс или обязательное условие. Да, заполнение заявки там в разы сложнее, чем в РГНФ или РФФИ, но система прозрачнее, оперативнее и объём финансирования выше. У многих сложность подачи заявки вызывает неприятие, но здесь надо понимать, что государство не предоставляет вам грант, а заключает с вами контракт, со всеми вытекающими последствиями, включая бумажную волокиту. Охота за грантами напоминает азартную игру: одни ставки выигрывают, другие оказываются биты. Неудачи не должны останавливать, а выигрыш – расслаблять. Не думаю, что на «охотников» надо смотреть негативно. Я знаю точно: кто в этой гонке не участвует, тот наукой, как правило, и не занимается – ему просто нечего предложить в заявку.

Вопрос о научных степенях не менее актуален. В упоминавшейся статье о социологическом портрете историков можно найти любопытное заявление: в нашей стране 81.7% историков имеют докторские степени (с. 138)! Цифры, мягко говоря, озадачивают. Даже беглый просмотр сайтов исторических факультетов и академических институтов свидетельствует всё-таки о другом. По моим (не совсем точным, но отражающим общую картину) подсчётам на основе информации сайтов, на историческом факультете МГУ кандидатов наук примерно 68%, в СПбГУ – 57%. В провинциальных вузах соотношение кандидатов и докторов наук ещё более контрастное. Так, в Елецком государственном университете 75% преподавателей кандидаты, при этом есть много и нестепенённых. Даже в ИРИ РАН, где приток новых кадров был невелик, докторов – лишь около 60%.

Очевидно, проблема явной ошибочности подсчетов – в источниках. Авторы упоминают, что они отталкивались от биобиблиографического словаря А.А. Чернобаева (2005 г.) и справочников «Кто есть кто», а также сайтов региональных университетов (каких?). Дело в том, что использованные справочники, с одной стороны, сильно устарели, с другой – изначально были ориентированы на самых заметных представителей сообщества. Вычисленный авторами средний возраст доктора наук, следовательно,

тоже не соответствует действительности. Но одно подмечено верно: возраст получения степени понижается. Многие преграды, которые раньше стояли на пути, устранены, требования к диссертациям несколько снизились. Если раньше престиж кандидата, а тем более доктора наук был весьма высок, то в последние годы произошла явная девальвация авторитета научных степеней. Получить их стало несложно. Не секрет, что и звание академика РАН отнюдь не гарантирует того, что перед нами выдающийся исследователь. Мои знакомые объясняют желание защититься очень просто: хочется прибавки за степень. В условиях, когда базовая зарплата не достигает и 10 тыс., надбавка в 7 тыс. весьма ощутима. Многими, конечно же, движут и амбиции. Какой смысл идти в заведомо неденежную сферу, если не стремишься максимально в ней реализоваться? Но всё же замечу, что защита докторской диссертации до 40 лет – событие не очень частое, а до 35 – и вовсе неординарное.

Таким образом вопрос, вынесенный в заглавие этой заметки, во многом риторический, и однозначно на него ответить нельзя. Безусловно, историческая наука перестала быть профессией престижной и обеспечивающей безбедное существование. Крайне негативное влияние на состояние науки оказывает (и это уже не изменится) недостаточное количество представителей поколения 1990-х гг., которые могли бы быть посредниками между старшей генерацией и молодыми историками, амортизировать очевидную разницу в менталитете и научном почерке, сглаживать возрастные ножницы.

С другой стороны, сейчас в науке больше, чем когда-либо, возможностей для самореализации: государственные границы открыты, доступ в архивы – более или менее свободный, существует множество научно-исторических журналов, несложно издать монографию. Здесь, правда, возникает другая проблема: из-за обилия изданий крайне сложно отслеживать и просматривать даже публикации по специальности, не говоря уже о том, чтобы читать литературу по смежным дисциплинам, хотя бы для самообразования.

Андрей Соколов: Историю, вещающую «объективную истину», не существует

В одном из своих интервью известный английский историк культуры Кейт Томас вспоминает, как классик английской историографии Льюис Нэмир отреагировал на известие о том, что не был избран на оксфордскую кафедру, которую получил тогда малозначительный учёный, – отреагировал совершенно по-английски, рассказав следующую историю. В XVIII в. в Лондоне существовал Коран-клуб, членом которого сначала мог стать только тот, кто побывал на Востоке. Вскоре, однако, члены клуба осознали, что такое правило исключает участие многих добрых и полезных людей. И тогда они поменяли его, утвердив, что членом может стать и тот, у кого есть желание отправиться в путешествие на Восток. Эта притча позволяет поставить вопрос о границах профессии. Если представить сообщество историков как некий гипотетический клуб, то рассматриваемая нами книга, «по гамбургскому счёту» (это выражение как минимум дважды встречается в ней), – о том, какие писанные и неписанные правила открывали в него дверь и как изгонялись неугодные, а также о том, кто и кем воспринимается как «чужой» сегодня. С некоторой долей преувеличения можно сказать, что в названии книги слово «сообщество» могло бы быть заключено в кавычки, и при этом её содержание вряд ли потребовалось бы менять. Отсутствие общенациональной корпорации историков, способной задавать профессиональные и этические стандарты, вкупе с вошедшей в наши гены потребностью делать историю политически полезной (чаще с точки зрения национально-патриотического начала), преобладание методологической нетерпимости, низкая диалоговая культура, в которой лишь немногие готовы выслушать оппонента, сохраняющиеся в головах стереотипы, в том числе о сущности своей профессии, – таков далеко не полный набор факторов, приводящих к выстраиванию отношений в сообществе историков в основном по линии «свой–чужой». Во многом прав один из авторов сборника Б. Соколов: «Историки кучкуются по собственным тусовкам, игнорируют существование иных групп, при этом каждая из групп убеж-

дена, что только она является носителем исторической истины» (с. 335). Возможно, предложение этого автора о создании Хартии историков выглядит наивно и утопично, но по существу в нём есть смысл. Стандарты Американской исторической ассоциации провозглашают: «Наше общее дело зависит от взаимного доверия». Можно рассуждать, по каким причинам в советское время оказалось невозможным создать союз историков и почему это не было сделано после 1991 г. Понимая, что реальность всегда сложнее идеального образа, я склонен считать, что, будь такая цель реализована, наличие объединения историков было бы благом, ибо позволило бы больше друг другу доверять.

Хотелось бы высказать три тезиса, связанных с содержанием «Научного сообщества...». Во-первых, в книге (в большинстве глав, но в разной степени) присутствует точка зрения, что историческая наука теряет свой престиж в современном российском обществе. Это утверждение, расходящееся с привычными заявлениями «официальных лиц» от истории, продолжающих на всех совещаниях и конференциях настаивать на её растущей социальной значимости, требует внимания и осмысления. У меня сложилось впечатление, что большинство авторов, упомянувших о данном явлении, главной причиной считают ухудшившееся материальное положение историков как следствие того, что государство «отвернулось» от этой профессии. Такое объяснение нельзя назвать полным. Для того чтобы ответить на вопрос, почему престиж исторической профессии пошатнулся, желательно взглянуть на ситуацию в международном контексте (кстати, одним из слабых мест книги является недостаточное внимание к тому, как обстоит дело с исторической профессией в других странах). Даже поверхностный взгляд подводит к интересным наблюдениям. В уже упомянутом мною интервью К. Томас сообщает о положении в британской историографии¹⁰. В 1950-х гг., когда он начинал, самой привлекательной дисциплиной для студентов была философия, «но и история привлекала непропорционально большую часть по-настоящему способных людей. И даже если они не становились профессиональными историками, то с успехом проявляли себя на государственной службе, в журналистике, бизнесе и других областях. В наши дни экономика стала более востребованным предметом и более ценным паспортом, открывающим мир. Это же касается права. В мои дни право было предметом для игроков в крикет. Его не считали сильно развивающим интеллектуально». Сейчас, замечает Томас, амбициозные студенты скорее займутся экономикой, правом или деловым администрированием, и в результате в истории «число действительно талантливых людей резко уменьшилось». Если не считать слова маститого учёного просто брюзжанием пожилого человека (а боюсь, что не все предшественники более молодого поколения историков захотят признать их справедливость), то разве не напоминает это описание то, что мы наблюдаем сегодня в России?

Признавая параллели очевидными, зададимся вопросом: каковы причины падения привлекательности профессии (российская историографическая культура, несомненно, является частью европейской, сложившейся в основном в XIX в.)? Одна из причин лежит на поверхности: современные государства считают расходы на образование, особенно гуманитарное, чрезмерными. Тот же Томас рассказывает, как Маргарет Тэтчер при посещении одного из университетов, услышав, что кто-то «изучает англо-саксов», воскликнула: «О, это роскошь». Однако мне кажется, что мы обманываем себя, стараясь не замечать тенденции к кардинальному изменению статуса истории в обществе. В раннее Новое время «история ради самой себя» не существовало – она целиком была связана с политикой, обучая управлению. С появлением в XIX в. историографии современного типа эта функция истории постепенно ослабевала, зато всё чаще звучали довольно неопределённые, признаем, суждения о том, что она расширяет умственные горизонты, развивает мораль и чувства и т.д. Обучение истории в школах оправдывалось политико-идеологическими аргументами. История играла свою роль в защите консенсусного общества, и она же подрывала аргументы в его пользу. Так было, например, в США 1960–1970-х гг. и в нашей стране на рубеже 1980–1990-х гг.

¹⁰ Journal of Early Modern History. 2005. Vol. 9. № 2.

Сдвиги в общественном сознании, которым поспособствовала и история, привели к возникновению нового общества, как бы ни называть его – постиндустриальным или потребительским. Оно прагматично, оно не верит в прежние мифы, хотя и создаёт новые. Боюсь, что история относится к числу отторгаемых мифов. Без осознания этого рецепт оздоровления истории так и будет сводиться к постоянно повторяющемуся набору банальностей и заклинаний.

Приведу пример, чтобы пояснить эту мысль. Наверное, каждый из нас сталкивался в ситуации обсуждения, чаще всего, политических вопросов, с таким, примерно, утверждением: «Ты же историк, ты должен знать, что будет дальше» (кстати, кажется, это случается всё реже). Профессиональная историография, возникшая в XIX в. на фоне ослабления религиозного дискурса после Просвещения и Французской революции, выработала форму истории-проповеди. Каждый историк мнит себя проповедником и носителем истины и Слова. Сам Леопольд фон Ранке, «патриарх» историографии, привнёс в неё эту идею. Тогда же возникла и главная метафора исторической профессии, метафора «взгляда историка»¹¹. Считается, что историки видят прошлое, т.е. невидимое, и языком своих сочинений пытаются убедить, что видят то, что не видно глазу: глубинные структуры, долговременные сдвиги и тенденции, что они обладают даром предвидения. Вот и можно прочесть у современного российского историка, спасающего науку от нечистот постмодернизма: «Историки пытаются зажечь “волшебный фонарь”, который бы позволил увидеть незримое, что многократно сложнее, но значимее для историка, чем “описывать наблюдаемое”. Этот “волшебный фонарь” должен высветить те стороны исторического процесса, которые оставались в тени... Замена телескопа на микроскоп также имеет цель увидеть ранее незримое»¹². Трогательная картина: профессор МГУ с волшебным фонарём в руках в поисках исторической объективности и невидимых структур. Эти слова подтверждают правоту Хейдена Уайта: у любого историка, каких бы намерений он ни придерживался, нет другого средства для выражения своих идей, кроме языка.

Для меня нет большой разницы между теми, кто утверждает, что история – это наука, и с помощью «особого зрения» находит историческую истину, и теми, кто не скрывает, что «домысливает» историю, не боится предполагать её не выходя за пределы логики и не вопреки источнику. Это, например, Э. Радзинский или издаваемый самими крупными тиражами в англо-американской историографии Саймон Шама. О Радзинском один из авторов, Никита Дедков, выражается так: его труды «при всей его популярности (! – А.С.) и при всех его недостатках, серьезным вызовом историческому сообществу назвать трудно. Писатели, подвигающиеся (! – А.С.) на ниве истории, всегда были и всегда будут. Необходимо смириться (! – А.С.) с тем, что история интересна не только ученым (! – А.С.)» (с. 291–292). Удивительно читать пассажи, в которых историческое высокомерие сочетается с убеждённой уверенностью, что настоящая история открыта только «учёным». Между тем, с моей точки зрения, Радзинский не просто «литературный талант», он вполне профессиональный историк, только пишет он не так, как нас учили в советское время; в его работах видны признаки, позволяющие отнести их к постмодернистскому типу истории: приверженность к нарративу и отказ от структурного подхода, «креативность» в интерпретации источников и откровенная опора на воображение, яркость и «ненаучность» стиля, прямое признание субъективного характера выводов, элементы дискурсивного подхода к историческим свидетельствам. К чему я веду? К тому, что в современный век «историкам-учёным» надо бы спуститься с пьедестала, на который они сами себя поставили, критически оценить собственные стереотипы и предубеждения и принять как данность: в современном обществе, ориентированном на плюрализм и разнообразие, монополии на историю существовать

¹¹ См. об этом: *Tollebeek J. Seeing the Past With The Mind's Eye: The Consecration of the Romantic Historian // CLIO. 2000. Vol. 29. № 2.*

¹² *Селунская Н.Б. Методологическое знание и профессионализм историка // Новая и новейшая история. 2004. № 4. С. 34.*

не может. Историография должна быть интересна обществу, а это возможно только в диалоговой культуре, или профессиональные занятия историей окончательно превратятся в «вещь в себе».

По правде, Фоменко мне мало интересен, но ярость, с которой на него нападают, тоже не понятна. Оказывается, даже «умнейший» Лотман «утратил чувство ответственности за состояние исторического просвещения» (не рухнет от величия собственной миссии? – А.С.). Праведен гнев нашего автора: как Лотман посмел рассматривать построения Фоменко как «безобидную в сущности игру ума»? (с. 287). Что ощущаете, г-н Дедков, поправляя Лотмана? Неужели историкам надо напоминать слова Вольтера: пусть я знаю, что мой противник не прав, но я жизнь отдам за то, чтобы он высказал свое мнение! Критикуйте, доказывайте, высмеивайте, наконец, пишите интереснее, чем те, кого вы ниспровергаете. Когда же Фоменко становится поводом для сожаления об отсутствии цензуры (с. 281), то это выглядит, по меньшей мере, цинично. Тут Н. Дедкову можно посоветовать прочитать хотя бы первую главу «Научного сообщества...», принадлежащую перу В. Есакова. Новых и неизвестных фактов в ней нет, но представление о том, что значили для советской историографии идеологический пресс и цензура, получить удастся. Завершая комментарий по поводу Фоменко и неадекватного восприятия его «концепции», выскажу мнение: он стал своеобразным жупелом, отвлекающим от анализа куда более серьёзных проблем и вызовов, которым подвергается современная историография. Назову лишь один вызов – клерикальный, значение которого, как мне кажется, историки ещё и не попытались осмыслить. А ведь это вопрос принципиальный, касающийся эпистемологии истории, это вопрос о понимании характера и сути исторического процесса, об основных телеологических характеристиках истории. По большому счёту это вызов, ведущий к переосмыслению едва ли не всего выработанного историографией в течение десятилетий.

Второй мой тезис касается стратегии написания некоторых разделов книги. Нельзя не заметить, что ряд авторов заявили об использовании дискурсивного метода, и на некоторых страницах осуществили это намерение небезуспешно. Так, убедительным показался проведённый И. Чечель анализ перестроечной историографии и особенно работы Ю.А. Полякова. Под дискурсивным анализом я понимаю выявление того, что «на кончике языка», что прямо не проговорено, но присутствует, помогая понять мотивы автора, проистекающие из контекста времени или личных пристрастий; то, как автор расставил акценты, о чём умолчал. Однако применение элементов дискурсивного анализа по отношению к рассматриваемой книге тоже даёт некоторые результаты. И главный вывод, вытекающий из такого анализа, состоит в том, что вопреки своей уверенности в праве судить с позиций объективности (взгляд «свысока» тоже, кажется, в наших генах), ряд авторов книги субъективен, а может быть, даже тенденциозен. Судите сами: глава, написанная Н. Потаповой, в основном посвящена критике редакционной политики журнала «Отечественная история»: «С одной стороны, разговор об обновлении, с другой – традиционный язык, традиционные ценности: свобода от политики, свобода от рынка и абстрактная академическая “научность”» (с. 203). Что ж, язык самой Потаповой трудно назвать традиционным. Чего стоит выявленная ею присущая журналу черта публиковать статьи, цитирующие «работы несвежих покойников» (с. 207). Разве можно так относиться к своим предшественникам? Не удержался: как говорят, навскидку спросил двух зарубежных коллег, возможно ли у них появление такой фразы в академических изданиях. Получил ответ: нет.

Отвлекусь немного в сторону: презрительное отношение к советской историографии становится чуть ли не признаком хорошего тона. Недавно мне пришлось писать об этом на конкретном примере¹³. Беда здесь не только в отсутствии такта, тем более по отношению к тем, кто уже не ответит, но и в том, что, наклеивая ярлыки, совре-

¹³ Соколов А.Б. «Замечательный и нередкий пример запутанности мыслей»: о статье М.И. Базера «Две английские революции как историографическая проблема // Диалог со временем. 2012. № 38.

менные историки стремятся, вопреки совету Марка Блока, судить, а не понимать в контексте времени, *того*, а не сегодняшнего дня. Разве можно принять презрительный вердикт г-на Люкшина в написанной им главе: «лживое и жалкое советское историческое краеведение» (с. 180)? А что только краеведение, давайте назовём всё написанное в советское время «жалким и лживым». Среди краеведческих трудов советского времени было немало политизированных или поверхностных, но разве такое обобщение справедливо?

Вернусь к Потаповой: возможно, её критический анализ «Отечественной истории» в чём-то справедлив, но верить ему не хочется. Почему? Одна из задач, поставленных перед собой автором, состояла также в анализе содержания и политики журналов «НЛО» и «Родина». О последнем в тексте меньше двух страниц, никакого анализа, общие слова, успешный медиа-проект, и всё. Ни слова о прямом заигрывании с властью, особенно региональной, ни слова о всё большем включении в патриотическую риторику. Эта часть рассматриваемой главы скорее реклама, чем исследование. Опираясь на принцип дискурсивного анализа, я волен спросить: это не потому, что один из руководителей журнала в составе редколлегии серии, и/или не потому, что автор в нём публикуется?

Я не думаю, что полностью справедлива оценка А. Свешниковым и Б. Степановым журналов «Вопросы истории», «Отечественная история» и «Новая и новейшая история» как «застывшего образа исторической дисциплины» (с. 242). Например, первый из них занимал ведущие позиции в перестроечное время и позднее опубликовал значительное число документов, по-настоящему менявших образ многих прошлых событий и лиц. Едва ли не как критика прозвучало то, что «Одиссей» способствовал широкому использованию категории «ментальность» (с. 240). Конечно, это дело вкуса: кому-то по душе долговременные структуры, кому-то ментальность, но презрительное отношение к культурной истории, характерное для большей части отечественных историков, уже привело к тому, что эту область (интереснейшую для читателей) практически заняли выходцы из других дисциплин, например, культурологи и филологи, и даже социологи, а историки, как всегда, остались в незапятнанных мундирах хранителей исторических законов.

Вряд ли в беспристрастности можно заподозрить Д. Люкшина, не пожалевшего иронии в адрес национальных историков, выдающей его принадлежность к имперскому дискурсу, несмотря на приправы вроде Ф. Анкерсмита или «умозрительной эсхатологии марксизма, с её ярко выраженной сотериологической подоплёкой». Выясняется, что национальные историки «увязли в схватке за перекрой сталинского кафтана», «не мытьём, так катаньем» доказывали древние корни своих этносов, ограничившись «разве что невозможностью доказать принадлежность к титульному этносу местных обезьянок по причине их отсутствия в местной фауне» (с. 183). Не берусь судить, в какой степени справедлива эта критика, но точка зрения – это всего лишь точка зрения, и Люкшин с обезьянками выглядит не лучше своих оппонентов, даже если его мнение представляется кому-то убедительной. Кто же спаситель от «гардианов татарской этнической государственности»? Ответ дан: сообщество Казанского университета, к которому автор и принадлежит – и это тоже к вопросу о дискурсивности. Сколько снобизма и презрения в отношении к «региональным академиям, спешно “произведённым” в университеты пед.-тех. институтам и т.п. образованиям!» Полностью забыта мудрость: не место красит человека, а человек – место. Зато ловко передёрнув две цитаты, выражающие «компетентное мнение двух профессоров Государственного университета – Высшей школы экономики», можно утверждать, что лица, справедливо или несправедливо обвиняемые им в «антироссийской и этнофобской политике», являются лицами с «несформированной этнической идентичностью». Спасибо, не написано: с расстроенной психикой. Неужели автор не чувствует, что здесь он приближается к жанру доноса? Но, в общем, ему с неназванными коллегами с трудом удаётся отбиться от попыток похоронить «своеобычную (? – А.С.) традицию национальных историографий» (с. 182). В соседнем Башкортостане дело обстоит ещё хуже: там к 2000 г. не было

не только «внятного представления о задачах регионального сообщества, но и самого сообщества» (с. 185). В общем, «прополка поля» (с. 186) региональной историографии вышла на славу!

Третий тезис, связанный с предыдущим, касается попыток классифицировать исследовательские подходы. Мы прибегаем к классификациям, чтобы обозначить собственную позицию, абстрагируясь от деталей и акцентируя внимание на признаках, которые представляются наиболее существенными. Простым и логичным выглядит предложенное И. Чечель деление на сторонников и противников традиционного академизма для перестроечного времени. Мне кажется, что ей удалось показать, что именно тогда главными обвинениями в адрес критиков стали обвинения в «публицистичности» и «непрофессионализме». Они с тех пор всё шире и шире используются против тех, кто воспринимается как «чужой» в профессии. Кстати, мягкая, в основном «защищающая», позиция И. Чечель по отношению к Ю.Н. Афанасьеву не отражает ли в дискурсивном плане принадлежность автора к сообществу РГГУ?

Классификация, которую предложил В. Молодяков, наоборот, представляется идеологически и политически ангажированной. Этот автор оперирует понятием «историографической ортодоксии», под которой понимает «идеологически детерминированную систему оценок и критериев оценки исторических событий, одобренных властью и навязываемых ею – когда жёстко, когда мягко – в качестве обязательной для пропаганды, науки и образования» (с. 261). Не очень понятна оговорка автора, что он «не ставит знака равенства между историографической ортодоксией и историографией в целом», если предыдущее высказывание как раз говорит об «обязательности» некоей идеологии для науки, в частности. Оставим в стороне небесспорное утверждение, что «система» М.Н. Покровского, хоть и колебалась с «генеральной линией», но сохранилась до времён «перестройки». Пафос автора, по существу, отражает его неприятие (опять же под маской объективизма) тенденций, которые связаны с появлением того, что принято было называть «новыми подходами» в изучении отечественной и всеобщей истории. Под «новой ортодоксией-1» Молодяков понимает критику сталинизма, прозвучавшую на волне «гласности» и «нового политического мышления». Если в основе его «концепции» лежит утверждение, что эта ортодоксия, как и другая, насаждается властью, то как понимать такое высказывание: «Под влиянием перестройки эволюционировали – другой вопрос, искренне или конъюнктурно – её партийно-агитпроповские кураторы вроде А.Н. Яковлева и Д.А. Волкогорова»? Не закрывая глаза на неуважительную тональность этой фразы, зададим вопрос: раз так, то получается, что не власть диктовала систему оценок (что является основой «концепции» автора), а идеологическая и политическая ситуация вопреки намерениям власти определяла появление «новых подходов»? Кстати, Молодяков не преминул и ниже «пнуть» упомянутых авторов, которые «по гамбургскому счёту не пользовались уважением в историческом сообществе» (с. 267). Не вдаваясь в дискуссию о значении их работ, замечу, по меньшей мере, что способность открыто признавать свои заблуждения – достоинство, заслуживающее уважения.

Особое раздражение автора вызывает «новая ортодоксия-2», под которой понимаются сочинения «демократов» от истории. Здесь Молодяков вновь противоречит себе: в основу его «концепции» положена идея навязывания оценок сверху, самой властью, а он тут же признаётся, что «государственного заказа на новую ортодоксию не было» (с. 266). Правда, были те самые «демократы» от истории, надеявшиеся, что власть их потребует, и, как можно догадаться, стремившиеся пожить на этом. Тут-то и появился «партийный чиновник от науки», он же «идеолог-публицист» Ю.Н. Афанасьев. Оказывается, и он поддержкой власти не пользовался, но «отсутствие прямой государственной поддержки в его пользу компенсировалось сокращением численности и дезорганизацией исторического сообщества, доминированием антисоветской риторики, политической дискредитацией оппонентов, пиаровской подпиткой из-за рубежа» (с. 267).

Инструменты разоблачения «демократов» не новы: отказ признавать их профессионалами, обвинения в радикализме и непримиримости, хотя на словах они «громче

всех требовали свободы слова, собраний и дискуссий». Пример непримиримости – покойный В.И. Старцев, который (надо же!) готов был общаться с автором, несмотря на политические разногласия. К вопросу о непримиримости: таковым предстаёт сам г-н Молодяков, который даже умершему оппоненту не может чего-то простить. Но главное подспорье «демократов» – «шакальство» у западных фондов, «экономическая подпитка из-за рубежа». Тут автор и вовсе вошёл во вкус конспирологии. Обладая доподлинной информацией о тех фондах, которые являются проводниками антирусской политики, и о тех, кто эту помощь принимает, Молодяков всё же решил «обойтись без конкретных примеров» (с. 272). Уверен, что сам он, конечно, представляет, в какие фонды можно обращаться за поддержкой. После всего этого не удивляет следующее утверждение: «Усиление государственного контроля над СМИ, как ни странно, привело к большему плюрализму мнений в дискуссиях на исторические темы, особенно на телевидении», где при Ельцине безраздельно господствовали «демократы» и носители «новой ортодоксии-2» (с. 272). В этих словах трудно не видеть ностальгии по цензуре. Что касается «концепции» как таковой, то к историографии, мне кажется, она имеет отношение только по форме, по существу же – это часть «ортодоксального» ныне политического антилиберального дискурса, и соответствующая риторика автора не оставляет в этом сомнений.

Полезней, чем читать Молодякова, вспомнить о работе Фридриха Ницше «О пользе и вреде истории для жизни», в которой выделены три вида истории: монументальная, антикварная и критическая, и это деление помогает, мне кажется, понять и ситуацию последних десятилетий в нашей историографии. Монументальная история – это школа политического воспитания на примерах и образцах; она – рассказ о тех, кто, презрев мелкое и низкое, ведёт человечество вперёд. Она же «вводит в заблуждения сомнительными параллелями», а если «западает в головы способных эгоистов и мечтательных злодеев, то в результате подвергаются разрушению царства, убиваются властители, возникают войны и революции». Антикварная история, по Ницше, принадлежит тем, для кого «мелкое, подгнившее и устарелое приобретает свою особую независимую ценность и право на неприкосновенность», в конечном счете, такая история превращается в «отвратительное зрелище слепой страсти к собиранию фактов»; всегда преуменьшая значение нового, она не порождает, а парализует жизнь. Функция критической истории – в том, чтобы разрушать прошлое и выносить его на суд истории. Она доминирует, когда «необходимо пролить свет на то, сколько несправедливости заключается в существовании какой-то вещи, например, известной привилегии, известной касты, известной династии». В то же время суд над историей – это операция опасная для самой жизни: «Так как мы – продукты прежних поколений, то мы являемся в то же время продуктами их заблуждений, страстей и ошибок и даже преступлений, и невозможно совершенно оторваться от этой цепи. Даже если мы осуждаем эти заблуждения и считаем себя от них свободными, то тем самым не устраняется факт, что мы связаны с ними нашим происхождением»¹⁴. Общественная атмосфера, или, если хотите, дискурс определяет преобладание того или иного вида истории. А вот того вида истории, который «сидит» в головах некоторых наших авторов, – истории, «вещающей» объективную истину, способной одновременно избегать общественных предрассудков и научать общество, в природе не существует. Хотя нам так хочется, чтобы она была!

Практически во всём я согласен с суждениями И. Нарского и Ю. Хмелевской по поводу грантов. Политика российских фондов доверия не вызывает. Что касается фондов западных, то у них, как мне кажется, степень доверия к российским историкам упала по сравнению с 1990-ми гг. и продолжает падать. В середине 1990-х гг. я координировал со стороны российского вуза самый большой из проектов в области исторического образования, финансировавшийся программой Темпус. Тогда история была в списке приоритетов фонда. В начале 2000-х в этом списке её уже не фигури-

¹⁴ Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 178.

ровало. Как пояснил один из тогдашних руководителей программы, история в России «нереформируема». В самом деле, отход от марксистской догматики оказался лишь верхушкой айсберга. На слова о «нереформируемости» можно обижаться или видеть в них стремление подорвать национальные корни, но трудно не понимать: наша историография по-прежнему в большой мере изолирована, уровень методологических и теоретических представлений низок и не соответствует современным мировым тенденциям, иностранными языками на должном уровне большинство историков у нас не владеет. Чудовищно падает уровень элементарной грамотности, особенно среди представителей более молодого поколения. Боюсь, что ни одна книга, написанная за последнюю четверть века российским историком, мировому историческому сообществу по-настоящему широко не известна.

Зато самомнения нам не занимать, и в представлениях о собственной значимости мы ни от кого не отстаём, это точно. Есть такие члены «сообщества», которые убеждены: иностранцы *a priori* не могут написать ничего путного о России. Этим людям невдомёк, что в отличие от них, поработавших в местном и немного в центральном архиве лет двадцать тому назад при написании кандидатской или докторской, иностранный исследователь может и в этом их превзойти. Я не утрирую, я знаю такие примеры. Многих не обошла болезнь снобизма: столичные историки заведомо значительно превосходят провинциальных. Её модифицированный вирус связан с проводимой в образовании политикой «разделяй и властвуй»: одни профессиональные институты объявляются особыми (что обычно, как ни печально, вызывает только радостное возбуждение у лиц, имеющих к ним отношение), а у тех, кто в данный момент в это число не входит, формируется комплекс ущербности. В «сообществе» историков, как в зеркале, проявляются недостатки современного общества как такового, прежде всего низкий уровень толерантности, высокая степень нетерпимости к «другому». К сожалению, эта черта заметна и в рассматриваемой книге. А может быть – не к сожалению? Может быть, это повод задуматься?

В заключение – одно уточнение. В сборнике дважды говорится об июньском совещании 2007 г. с учителями истории по поводу пресловутой книги А. Филиппова и о встрече В.В. Путина с его участниками. Как участник совещания должен сказать: этой встречи не было. Была встреча президента со специально отобранной организаторами группой, а это не одно и то же. Более того, такой подход вызвал бурную реакцию собрания, которая ни к чему не привела. Ведущий г-н Калина заявил тогда, что вход «за зубцы» (именно так и было сказано) требует долгих согласований, поэтому менять ничего нельзя.

Валерий Дурновцев: По волнам нашей памяти

Корпорация историков – одна, но не единственная из общественных структур, представляющих в массовом историческом сознании научное, рациональное историческое сознание. Как и любая общность, научное сообщество историков не отличается монолитностью. Наряду с разнообразными академическими предпочтениями в нём присутствуют, тесно переплетаясь и оппонируя друг другу, разнообразные конфессиональные, этнические, политические, культурные, региональные и прочие интересы. И осознанно, и стихийно представители этой общности стремятся выработать профессиональные, нравственные, организационные и иные критерии собственного отличия от других общественных структур. Да и внутри научной корпорации естественно формируются группы, тяготеющие к самообособлению, представители которых стремятся стать отдельной школой, особым направлением. И подобно тому, как гуманитарные науки изучают различные индивидуальные и групповые свойства социальной/исторической памяти, можно исследовать и самосознание научных корпораций со всеми их сегментами.

Выход в свет очередного издания, подготовленного Ассоциацией исследователей российского общества и посвящённого научному сообществу историков, подтверждает

жизнеспособность издательских программ и научных проектов ассоциации. Идею издания выразил Г.А. Бордюгов: «Проследить основные тенденции изменений в научном сообществе историков за последние два десятилетия и предшествующее им столетие», проанализировать «мировоззренческие и культурные ценности, которые доминируют в сообществе историков современной России, новые модели и формы объединения историков, новые вызовы, волнующие сообщество, нравы современных историков». Анонс издания вполне соответствует его направленности и общему содержанию. Ну, а если одному читателю, преимущественно «профессионалу истории», покажутся близкими, а другому, наоборот, – неприемлемыми отдельные выводы, тональность вынесенных на обсуждение и решаемых авторами в каждом случае по-своему вопросов, то это нормально.

Как известно, именно на исследуемый в сборнике период жизни сообщества российских историков приходится становление естественного состояния науки после долгих десятилетий идеологического контроля над ней. Помимо свободы в выборе тем, методов и стиля новая историографическая ситуация породила множество явных и скрытых проблем, повлекла за собой длинный шлейф параисторий и параисториографий. «Наше непредсказуемое прошлое» породило и феномен «непредсказуемой историографии». Свободная историография в любом случае лучше декретируемой и регулируемой извне. Однако цена свободы самовыражения включает разные издержки. Новая книга АИРО-XXI в этом отношении весьма показательна, поскольку поставленные и исследуемые в ней вопросы иногда нарочито, а порой и объективно провокативны. Авторы, группирующихся вокруг изданий под руководством Г.А. Бордюгова (а это коллектив с постоянным ядром участников), отличается именно свобода самовыражения. Правда, не всегда сопровождаемая ответственностью и тактом. Но, как говорит в заключение своей передачи известный телеведущий, «такие времена».

Против обыкновения обзор статей в издании хочется начать с особняком стоящей в нём и имеющей самостоятельное значение публикации библиографических материалов И.Л. Беленького. Историографические исследования и публикации 1940-х – начала 2000-х гг. по истории отечественного научно-исторического сообщества конца XIX – начала XXI в. распределены в ней по следующим рубрикам: «1. Институты. Коммуникации. Традиции. 2. Научные школы в отечественной исторической науке. 3. Сборники в честь и памяти отечественных учёных-историков. 4. Мемуары, дневники и письма отечественных историков. 5. Биобиблиография учёных-историков. 6. Биографические и биобиблиографические словари историков». В свою очередь, в каждой рубрике имеется внутреннее членение, а главное, их предваряют тонкие историографические наблюдения и соображения, выходящие далеко за границы формального комментария к спискам литературы. Остаётся надеяться, что автор продолжит и завершит эту работу, заслуживающую и отдельной публикации.

Остальные материалы рецензируемой книги размещены в четырёх разделах. В «Прологе» В.Д. Есаков прослеживает возникновение и историю научного сообщества историков в эпоху войн, революций и советского строя (до середины 1970-х гг.). В заключительной части статьи, содержащей общее описание ситуации в академической науке, приводится важное, на мой взгляд, замечание: кризис советской исторической науки и исторического образования назревал с середины 1960-х гг., т.е. выявился задолго до перестройки. Можно пойти и дальше, и утверждать, например, что кризис национальной историографии наступил с установления тотального контроля власти над исторической наукой и превращения её в рабу политики. В том же разделе постоянный участник издательских проектов и программ АИРО-XXI И.Д. Чечель продолжила делиться своими размышлениями об отечественной историографии и исторической публицистике в статье «“Профессионалы истории” в эру публицистичности: 1985–1991 гг.». Я остановлюсь на них чуть позже.

В разделе «Транзит» Г.А. Бордюгов и С.П. Щербина представили результаты работы кратких профессиональных биографий российских историков, которые содер-

жаты, в частности, в известных биобиблиографических словарях А.А. Чернобаева. Источник ценный, но неполный. В сконструированном авторами статьи облике среднестатистического представителя мира историков России Виктора Ивановича «худшая половина» научного сообщества, возможно, будет искать и с удовлетворением находить/не находить свои черты. Историки тоже шутят? Или это серьёзно?

Ещё один «старый» автор АИРО-XXI, Д.И. Люкшин (раздел «Новые формы объединения учёных»), переключил своё внимание с крестьяноведения на изучение сообществ «национальных историков», преимущественно башкортостанскую и татарстанскую историографию. Лучше бы он остался в границах прежней проблематики. Вывод автора: в регионах, отмеченных клеймом этнической государственности, борьба за суверенитет на поле историографии обернулась дезорганизацией и депрофессионализацией провинциальной корпорации «национальных историков». Что ж, во имя преодоления мнимых и реальных проблем в региональных историографиях прикажете изменить государственное устройство Российской Федерации? Но не забудем об отчетливо провокативном характере отдельных статей в издании, и не будем обижаться на автора (историка из Татарстана) за своих коллег и друзей в российских регионах. Однако отвечать, конечно, необходимо. И изучать национальные историографии на постсоветском пространстве (кстати, не надоело ещё к месту и не к месту пользоваться этим словосочетанием?).

Н.Д. Потапова в том же разделе проводит «исследование», основанное «на сплошном просмотре содержания» журналов «Вопросы истории», «Отечественная история» («Российская история»), «Новое литературное обозрение» и «Родина». Что же можно исследовать на основе заголовков статей и имен их авторов в журналах, несопоставимых принципиально по многим очевидным параметрам (справедливости ради, несколько работ автором прочитаны)? Ни много ни мало, а формы взаимодействия между редакторами и авторами, способы коммуникации и технологии власти в рамках профессионального сообщества, модели отношений, которые реализуют в своих практиках современные исторические журналы, дискурсивные стратегии и формы репрезентации прошлого, которые поддерживаются и производятся участниками этих отношений. Почему потенциально обильные информационные ресурсы (текущий архив журнала, интервью членов редколлегии, читателей и авторов) не занимали Потапову, можно только догадываться. Ведь предмет авторского внимания – не «Уединенный пошехонец». Не потому ли, что правильное исследование могло привести к выводам, решительно противоречащим придуманной (задуманной) вполне несуразной конструкции? Взгляд породил нечто. Текст изобилует неточностями вроде бы несущественными: хорошо известно, что журнал «Вопросы истории» вовсе не академический. Автору статьи нужно, чтобы он был академическим. Грешно смеяться, дело ведь серьёзное, но когда читаешь, что «академическая история – традиционно глобальная история», что «академическая среда – не женское место», а периодика – «мужской мир», связанный с «карьерными стратегиями», что «жанр биографий и исторического портрета – та форма, в которой глубокие пласты истории ещё выжили», что для российского академического мира непривычны категории «дискурсы», «контекст», «значение» и проч., отхохотавшись, задумываешься: уж не шутит ли автор? Не попадёшь ли в расставленные силки, вступая в принципиальный спор, скажем, о «жизни и судьбе» журнала «Российская история» в контексте общей историографической ситуации? И уместно ли призывать автора к приличиям, прочитав, например, такое: «Аутизм, изоляция и цитирование работ несвежих покойников – объяснимые стратегии поддержания режима сосуществования при сохранении архаичных норм научной жизни и властных отношений в научной среде?»

Тем не менее нужно поблагодарить Н.Д. Потапову. Её статья – ценный материал для изучения формирующейся историографической субкультуры внутри научного сообщества историков. Это, во-первых. А во-вторых, и в самом деле давно назрел откровенный, научно содержательный, благожелательно-конструктивный разговор об исторической периодике в России – в центрах и регионах. Может быть, в формате представительной общероссийской научно-практической конференции.

Завершается раздел статьёй А.В. Свешникова и Б.Е. Степанова, посвящённой междисциплинарности в советской и постсоветской историографии. В последнем случае внимание акцентируется на роли в расширении профессионального горизонта историков известных изданий – альманахов «Одиссей», «THESIS», «Диалог со временем», журнала «Новое литературное обозрение» и некоторых других. Напомнили авторы и о проблемах, возникающих в связи с развитием безбрежного междисциплинарного пространства, о наметившемся отдалении «теоретиков» и «методологов» от тех, кто «по старинке пытается писать историю по источникам».

В разделе «Перед вызовами рубежа веков» помещена статья В.Э. Молодякова «Канун новой ортодоксии. Историк и Власть в перестроечной и новой России». Под историографической ортодоксией автор понимает идеологически детерминированную систему оценок исторических событий, одобренных властью и навязываемых ею в качестве обязательной для пропаганды, науки и образования. Развивая идею о наступающем ныне новом витке идеологического контроля над наукой со стороны власти, автор осторожно оптимистичен, выражая надежду, что «и на этот раз пронесёт». Мне ближе сдержанный пессимизм.

Популярной ныне в среде историков-профессионалов теме посвящена статья Н.И. Дедкова (в том же разделе) об опасности псевдоисторий для российского общества. Автор сетует, что «страшны не фоменки и мулдашевы – страшен исторический нигилизм, который они порождают». На мой взгляд, эти псевдоистории ничего кроме псевдоистории не породили, и опасны они не для общества и тем более – не для научного сообщества историков, а лишь для некоторых легко возбудимых умов. Есть мифы, порождаемые в самой корпорации учёных историков, которые, право, опаснее фанатичных и алчных авторов «новой» и прочей хронологий.

«Грантовое пространство» и «грантовая политика» – тема статьи И.В. Нарского и Ю.Ю. Хмелевской. «Что правда, то правда», – вздохнут те, кто подобно её авторам испытал тяжкие нетворческие муки, осваивая «грантовое пространство». Раздел «Перед вызовами рубежа веков» завершается статьёй Б.В. Соколова «Нравы современных российских историков: предпосылки к падению и предпосылки к возрождению». Автор вносит конкретное предложение – принять Хартию историков. Проект им разработан. Хороший проект. Дело за пустяком: следовать ему, чего можно было бы пожелать и некоторым авторам сборника.

После чтения «Хартии» самое время поговорить о статье И.Д. Чечель. Изучение истории научного сообщества историков, разумеется, невозможно без особого акцента на переломном для него периоде кануна распада СССР. Взаимодействие профессиональной исторической науки и исторической публицистики в тогдашней пограничной во всех отношениях ситуации – тема, конечно, благодарная. За четверть века, прошедшие с начала «перестройки», эта проблематика, казалось бы, могла войти в русло спокойно-академического обсуждения. Но, оказывается, время для этого ещё не пришло.

Научное освоение историографического прошлого в годы перестройки превосходно обеспечено источниками. Это позволяет создавать самые разнообразные конструкции, в зависимости от степени овладения ремеслом историографа, старательности, личных симпатий и антипатий. Неудобные, не укладывающиеся в конструкцию факты можно ведь и не заметить. К сожалению, современным молодым исследователям недоступен такой важный «документ», как собственная память о недавнем прошлом. Но очевидцы и активные участники, слава Богу, рядом. Многие из них перенесли свои свидетельства на бумагу, продолжают возвращаться к теме «история и перестройка», критически и трезво переосмысливать события второй половины 1980-х и начала 1990-х гг. Если, конечно, им доступны рефлексия и трезвость. Очевидцы могут ошибаться, быть пристрастными, но их не проведёшь, когда предложишь залежалый или «постмодернистский» товар.

Опыт анализа быстро менявшейся историографической ситуации, проведённый в статье И.Д. Чечель, конечно, привлечёт внимание читателей книги. Задержит ли – другой вопрос. Следует сразу предупредить: это будет трудное чтение. В поиске смысла

придётся пробиться сквозь частокол «тёмных» суждений. Впрочем, может быть, понятных и близких соответствующей референтной группе. Попытаюсь частично расшифровать написанное автором. В качестве «строительного материала» для историографических конструкций в статье выступают вырванные из контекста фразы из отдельных текстов историков эпохи «перестройки». Эти «кирпичики» могут абсолютно не соответствовать общему смыслу работ, из которых они взяты, поэтому идентифицировать позицию того или иного историка с его словами, приведенными в статье, не следует.

В этой выстроенной в основном из симулякров конструкции имеются и вполне реальные персонажи. Это официальные фигуры на тогдашнем «историческом фронте», известный историк, перевоплотившийся в «демократического политика, и ...академик Ю.А. Поляков, выступающий в роли не столько деятельного участника тогдашних «боев за историю», сколько одного из первых исследователей «эры публицистичности», лет за двадцать до появления статьи И.Д. Чечель в известной книге «Наше непредсказуемое прошлое» по горячим следам самокритично осмыслившего «перестройку» в исторической науке.

Что же представляет собой «сухой остаток» рассматриваемого текста? Автор начинает с «оригинального» утверждения: во второй половине 1980-х гг. престиж национальной исторической науки упал. Неудовлетворенность общим состоянием науки охватила и историков, и потребителей исторической информации. Профессиональные историки по-разному выражали своё отношение к «советской историографической традиции» и к феномену «исторической публицистики». И.Д. Чечель выделяет в их числе прежде всего «сторонников традиционного академизма», с оговорками защищавших советскую историографию и фундаментальные методологические идеи, лежащие в её основании, и отстаивавших необходимость выполнения ею социальных и политико-идеологических функций. Автор, конечно, не отказывает себе в праве перечислить адептов этого направления. «Огласите весь список!» – мог бы попросить заинтересованный читатель. Но нет, «и др.» всегда под рукой. При этом в «списке Чечель» оказались люди, которые весьма удивились бы, если бы узнали, что их имена через запятую соседствуют, скажем, с именем академика П.Н. Федосеева. Впрочем, «академисты» куда больше – они обнаруживаются и в авторских сносках. Другое историографическое направление, по версии автора, – «критическое». «Критики советского академизма», политизированные профессиональные историки, настаивали на «максимально *деидеологизированном* историческом знании», расширении методологической базы историографии, плюрализме подходов. И парадоксальным образом, настаивая на независимости от внешних влияний, став историческими публицистами, они взяли на себя миссию воздействовать на общество и политику, открыть шлюзы для проникновения в историографию «публицистической волны». В свою очередь, «критицисты» делятся на «критиков-политиков» и «критиков-методологов»; в дальнейшем, к началу 1990-х гг., «академисты» и «критики-методологи» становятся «неразличимыми».

Всё было бы ничего, если бы не одно «но». Осталось непонятным, почему в конечном итоге за пределами анализа оказались историки, чрезвычайно жёстко оценивавшие и прошлое, и настоящее советской историографии, решительно расходившиеся с ортодоксальными, консервативными позициями, но в то же время не сомневавшиеся в том, что научно-историческое познание существовало во все периоды советской истории. Историки, принадлежавшие к мощным научным школам, создатели которых в трудные времена отстаивали коренные принципы своей профессии и традиции «русской исторической школы». В тогдашнем научно-историческом сообществе таких историков, смею предположить, было много. Они никак не укладываются в предлагаемую схему.

Напомню, что научные и педагогические занятия большой группы историков того времени практически не касались тогдашней политизированной «повестки дня», т.е. проблематики национальной истории по преимуществу XX в. Задолго до того, как И.Д. Чечель стала решать проблему «образов научности» в перестроечный период, упомянутый выше Ю.А. Поляков писал о многоплановости и многодисциплинарности исторической науки. (Кажется, слово «медиевистика» появляется в статье

И.Д. Чечель однажды и только ради того, чтобы раз и навсегда исчезнуть.) В какую нишу разместить эти слои научного сообщества в немилосердную эру историографической перестройки? Корпорацию историков никак нельзя ограничить двумя-тремя десятками имён.

Давно замечено: невозможно писать историю без живых людей, невозможно реконструировать без них и историю исторической науки. Автором это неперемное условие историографических занятий не учитывается (и, может быть, не просто технической ошибкой объясняется то, что Тамара Дмитриевна Крупина в статье стала Т.Д. Крупиным). Неудивительно, ведь иначе предложенная ею банальная конструкция развалилась бы как картонный домик. Задавшись вопросом об отношении исторической науки к исторической публицистике, И.Д. Чечель замечает, что в «прошедшую декаду» (?) «большая часть историков» «единодушно» относилась к исторической публицистике отрицательно, как к «непрофессиональной историографии». Большая или бóльшая? И насчёт «единодушия», как бы ни манипулировала автор цитатами, её вывод легко опровергнуть. То же касается и якобы исключительно негативного смысла термина «непрофессиональная историография».

Почему автор столь пристально анализирует известную работу Ю.А. Полякова «Наше непредсказуемое прошлое», написанную без малого 20 лет назад и опубликованную в 1995 г.? Отмеченные в ней Поляковым признаки болезни исторической науки (конъюнктурщина, дилетантизм, догматизм) кажутся автору, может быть, и важными, но недостаточными, а концептуальная сторона анализа историографической перестройки, по мнению И.Д. Чечель, выглядит «скупо-традиционной», констатация преобладает над исследованием, остаётся голословной и предвзятой. При этом она, не смущаясь, задаёт в статье 2011 г. вопросы автору книги 1995 г. и удивляется, почему тот на них не отвечает. Некоторым «утешением» для автора «Нашего непредсказуемого прошлого» может служить, пожалуй, то обстоятельство, что И.Д. Чечель обнаруживает близость его взглядов к идеям другого учёного – В.Б. Кобрин. Впрочем, до критики мыслей последнего, изложенных в не менее известной книге «Кому ты опасен, историк?», руки у автора статьи не доходят.

Да, история и историография – это нескончаемый спор. Можно и нужно спорить, но иначе. И всё же хорош проект «Хартии историков»! Только жить и писать в соответствии с ним и о живущих, и об ушедших, о человеческом в историографии, оказывается, совсем непросто.

Материал подготовлен И.А. Христофоровым